

Аз

МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ

ЭЖЕН СЮ



Парижские  
тайны

Том 1

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«АЗБУКА»

Парижские тайны

Эжен Сю

**Парижские тайны. Том 1**

«Азбука-Аттикус»

1843

УДК 821.133.1  
ББК 84(4Фра)-44

**Сю Э. Ж.**

Парижские тайны. Том 1 / Э. Ж. Сю — «Азбука-Аттикус»,  
1843 — (Парижские тайны)

ISBN 978-5-389-24593-8

«Парижские тайны» Эжена Сю – возможно, самый популярный роман XIX века, породивший множество подражаний и создавший особое направление в приключенческой литературе. К этому жанру «криминальной беллетристики» можно отнести такие произведения, как «Отверженные» Гюго, «Горбун» Феваля, «Петербургские трущобы» Крестовского и многие другие прославленные романы (Умберто Эко опубликовал список из сорока романов, представляющих собой прямое подражание «Парижским тайнам»). В книге весьма реалистично изображен красочный, жестокий, авантюрный мир парижского дна. Невероятные приключения, неожиданные сюжетные повороты, любовные интриги и колоритные персонажи продолжают волновать читателей и сегодня, а число экранизаций и театральных постановок «Парижских тайн» невозможно сосчитать. В первый том вошли первые пять частей романа. Текст сопровождается многочисленными иллюстрациями итальянского художника Освальдо Тофани (1849–1915), никогда ранее не публиковавшимися в России.

УДК 821.133.1  
ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-389-24593-8

© Сю Э. Ж., 1843

© Азбука-Аттикус, 1843

# Содержание

Часть первая[1]	8
Глава I	8
Глава II	14
Глава III	21
Глава IV	32
Глава V	39
Глава VI	47
Глава VII	51
Глава VIII	55
Глава IX	62
Глава X	68
Глава XI	72
Глава XII	77
Глава XIII	80
Глава XIV	85
Глава XV	92
Глава XVI	100
Глава XVII	105
Глава XVIII	109
Глава XIX	113
Глава XX	117
Глава XXI	124
Часть вторая[67]	136
Глава I	137
Глава II	142
Глава III	149
Глава IV	151
Глава V	158
Глава VI	160
Глава VII	166
Конец ознакомительного фрагмента.	168

# **Эжен Сю**

## **Парижские тайны. Том 1**

Eugène Sue  
LES MYSTÈRES DE PARIS

Иллюстрации Освальдо Тофани

© Ф. Л. Мендельсон (наследник), перевод, 2023

© О. В. Моисеенко (наследник), перевод, 2023

© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023

Издательство Азбука®

\*\*\*



## Часть первая<sup>1</sup>



### Глава I Кабак «Белый кролик»

Тринадцатого ноября 1838 года, холодным дождливым вечером, атлетического сложения человек в сильно поношенной блузе перешел Сену по мосту Менял и углубился в лабиринт темных, узких, извилистых улочек Сите, который тянется от Дворца правосудия до собора Парижской Богоматери.

Хотя квартал Дворца правосудия невелик и хорошо охраняется, он служит прибежищем и местом встреч всех парижских злоумышленников. Есть нечто странное или, скорее, фаталь-

---

<sup>1</sup> Перевод О. Моисеенко.

ное в том, что этот грозный трибунал, который приговаривает преступников к тюрьме, каторге и эшафоту, притягивает их к себе как магнит.

Итак, в ту ночь ветер с силой врвался в зловещие улочки квартала; белесый, дрожащий свет фонарей, качавшихся под его порывами, отражался в грязной воде, текущей посреди покрытой слякотью мостовой.

Обшарпанные дома смотрели на улицу своими немногими окнами в тухлявых рамках почти без стекол. Темные крытые проходы вели к еще более темным, вонючим лестницам, настолько крутым, что подниматься по ним можно было лишь с помощью веревки, прикрепленной железными скобами к сырým стенам.

Первые этажи иных домов занимали лавчонки угольщиков, торговцев требухой или перекупщиков завалавшегося мяса.

Несмотря на дешевизну этих товаров, витрины лавчонок были зарешечены: так боялись торговцы дерзких местных воров.

Человек, о котором идет речь, свернул на Бобовую улицу, расположенную в центре квартала, и сразу убавил шаг: он почувствовал себя в родной стихии.

Ночь была черна, дождь лил как из ведра, и сильные порывы ветра с водяными струями хлестали по стенам домов.

Вдалеке, на часах Дворца правосудия, пробило десять.

В крытых арочных входах, сумрачных и глубоких, как пещеры, прятались в ожидании клиентов гуляющие девицы и что-то тихонько напевали.

Одну из них, вероятно, знал мужчина, о котором мы только что говорили; неожиданно остановившись, он схватил ее за руку повыше локтя.

– Добрый вечер, Поножовщик!

Так был прозван на каторге этот недавно освобожденный преступник.

– А, это ты, Певунья, – сказал мужчина в блузе, – ты угостишь меня купоросом<sup>2</sup>, а не то попляшешь без музыки!

– У меня нет денег, – ответила женщина, дрожа от страха, ибо этот человек наводил ужас на весь квартал.

– Если твой шмель отощал<sup>3</sup>, Людоедка даст тебе денег под залог твоей хорошенькой рожицы.

– Господи! Ведь я уже должна ей за жилье и за одежду.

– А, ты еще смеешь рассуждать! – крикнул Поножовщик.

И наугад в темноте он так ударил кулаком несчастную, что она громко вскрикнула от боли.

– Это не в счет, девочка; всего только небольшой задаток...

Не успел злодей произнести эти слова, как вскрикнул, непристойно ругаясь:

– Кто-то уколол меня в руку; это ты поцарапала меня ножницами!

И, рассвирепев, он бросился вслед за Певуньей по темному проходу.

– Не подходи, не то я выколю тебе шары ножницами<sup>4</sup>, – сказала она решительно. – Я ничего тебе не сделала плохого, за что ты ударил меня?

– погоди, сейчас узнаешь, – воскликнул разбойник, продвигаясь во мраке по проходу. – А! поймал! Теперь ты у меня попляшешь! – прибавил он, схватив своими ручищами чье-то хрупкое запястье.

– Нет, это ты попляшешь! – проговорил чей-то мужественный голос.

---

<sup>2</sup> Водкой.

<sup>3</sup> Если твой кошелек пуст. Мы недолго будем злоупотреблять этим отвратительным жаргоном и ограничимся впоследствии лишь наиболее характерными его примерами. Это примечание, как и все остальные, принадлежит автору романа. Перевод арготических слов и выражений в 1-й и 2-й частях «Парижских тайн» сделан Я. З. Лесюком.

<sup>4</sup> Я выколю тебе глаза своими ножницами.

– Мужчина? Это ты, Краснорукий? Отвечай, да не сжимай так сильно руку... Я зашел в твой дом... Возможно, что это ты...

– Я не Краснорукий, – ответил тот же голос.

– Ладно, раз ты не друг, то наземь брызнет вишневый сок<sup>5</sup>, – воскликнул Поножовщик. – Но чья же это рука, в точности похожая на женскую?

– А вот и другая, такая же, – ответил незнакомец.

И внезапно эта тонкая рука схватила Поножовщика, и он почувствовал, как твердые, словно стальные, пальцы сомкнулись вокруг его горла.

Певунья, прятаясь в конце крытого прохода, поспешно поднялась по лестнице и, задержавшись на минуту, крикнула своему защитнику:

– О, спасибо, сударь, что заступились за меня. Поножовщик хотел меня поколотить за то, что я не могу дать ему денег на водку. Я отомстила, но вряд ли сильно его поцарапала; ножницы у меня маленькие. Может, он и пошутил. Теперь же, когда я в безопасности, не связывайтесь с ним. Будьте осторожны: ведь это Поножовщик!

Видимо, этот человек внушал ей непреодолимый страх.

– Вы что ж, не поняли меня? Я сказала вам, что это Поножовщик! – повторила Певунья.

– А я громщик, и не из зябких<sup>6</sup>, – ответил неизвестный.

Потом голоса смолкли. Слышался лишь шум ожесточенной борьбы.

– Видать, ты хочешь, чтоб я тебя остудил?<sup>7</sup> – воскликнул разбойник, всячески пытаюсь вырваться из рук своего противника, необычайная сила которого изумляла его. – погоди... погоди... Я заплачу тебе и за Певунью, и за себя, – прибавил он, скрежеща зубами.

– Заплатишь кулачными ударами? Ну что ж... Сдача для тебя найдется... – ответил неизвестный.

– Отпусти горло, не то я откушу тебе нос, – прошептал Поножовщик сдавленным голосом.

– Нос у меня слишком мал, приятель, ты не разглядишь его в темноте!

– Тогда выйдем под висячий светник<sup>8</sup>.

– Идем, – согласился неизвестный, – посмотрим, кто кого.

И, подталкивая Поножовщика, которого он все еще держал за шиворот, неизвестный оттолкнул его к двери и с силой вытолкнул на улицу, слабо освещенную фонарем.

Разбойник споткнулся, но тут же выпрямился и яростно накинулся на незнакомца, стройная и тонкая фигура которого не предвещала проявленной им незаурядной силы.

После недолгой борьбы Поножовщик, человек атлетического сложения, весьма искушенный в кулачных боях, называемых в просторечии «саватой», нашел, как говорится, на себя праву...

Неизвестный с поразительным проворством дал ему подножку и дважды повалил на землю.

Все еще не желая признать превосходство своего противника, Поножовщик снова напал на него, рыча от ярости.

Тут защитник Певуни внезапно изменил прием и обрушил на голову разбойника град ударов, да таких увесистых, словно они были нанесены железными рукавицами.

Этот прием, который вызвал бы восхищение и зависть самого Джека Тернера, прославленного лондонского боксера, был настолько чужд правилам «саваты», что оглушенный Поножовщик в третий раз рухнул на мостовую, прошептав:

---

<sup>5</sup> Прольется кровь.

<sup>6</sup> Разбойник, и не из трусливых.

<sup>7</sup> Убил?

<sup>8</sup> Фонарь.

– Ну, я накрылся<sup>9</sup>.

– Ведь он же сдается, сжальтесь над ним! Не приканчивайте его! – проговорила Певунья, которая во время этой драки робко вышла на порог дома Краснорукого. – Но кто ж вы такой, сударь? – спросила она с удивлением. – Ведь от улицы Святого Элигия до собора Парижской Богоматери нет человека, который мог бы совладать с Поножовщиком, разве что Грамотей; спасибо, если бы не вы, Поножовщик наверняка избил бы меня.

Вместо того чтобы ответить девушке, неизвестный внимательно вслушивался в ее голос.

Никогда еще его слух не ласкал такой нежный, свежий, серебристый голосок. Он попытался разглядеть лицо Певуньи, но ночь была слишком темна, а свет фонаря слишком слаб.

Прележав несколько минут без движения, Поножовщик пошевелил ногами, затем руками и наконец приподнялся.

– Осторожно! – воскликнула Певунья, снова прячась в крытом проходе, куда она увлекла и своего покровителя. – Осторожно, как бы он не вздумал отомстить вам.

– Не беспокойся, девочка, если он захочет добавки, я могу еще раз угостить его.

Разбойник услышал эти слова.

– Спасибо... У меня и так башка как пивной котел, – сказал он неизвестному. – На сегодня с меня хватит. В другой раз не откажусь, если только разыщу тебя.

– А, тебе мало? Ты смеешь жаловаться? – угрожающе воскликнул неизвестный. – Разве я свергузил в драке?<sup>10</sup>

– Нет, нет, я не жалуюсь, ты угостил меня на славу... Ты еще молод, но куражу тебе не занимать, – сказал Поножовщик мрачно, но с тем уважением, какое физическая сила неизменно внушает людям его сорта. – Ты отколошматил меня за милую душу. Так вот, кроме Грамотея, который может заткнуть за пояс трех силачей, никто до сих пор, поверь, не мог похвалиться, что поставил меня на колени.

– Ну и что из этого?

– А то, что я нашел человека сильнее себя. Ты тоже найдешь такого не сегодня, так завтра... Всякий находит на себя управу... Ну а коли не встретится такой человек, то есть всемогущий<sup>11</sup>, так по крайней мере долбят хряки<sup>12</sup>. Ясно одно: теперь, когда ты положил Поножовщика на обе лопатки, можешь делать в Сите все, что тебе вздумается. Все девки будут к твоим услугам: людоеды и людоедки не посмеют отказать тебе в кредите... Но кто ж ты, в конце концов? Ты знаешь музыку<sup>13</sup>, как свой брат. Если ты скокарь<sup>14</sup>, нам с тобой не по пути. Я одного малого пером исписал<sup>15</sup>, что правда, то правда. Стоит мне прийти в ярость, как кровь ударяет в голову, и я хватаюсь за нож... Зато я оплатил свою любовь поиграть ножом пятнадцатью годами кобылки<sup>16</sup>. Мой срок кончился, я освобожден, чист перед дворниками<sup>17</sup>, и я никогда не лямзил<sup>18</sup>, – спроси у Певуньи.

– Правда, он не вор, – сказала девушка.

– В таком случае пойдем выпьем по стаканчику, и ты узнаешь, кто я такой. Идем же и позабудем о драке.

---

<sup>9</sup> Признаю себя побежденным, с меня довольно.

<sup>10</sup> Нечестно дрался с тобой.

<sup>11</sup> Бог.

<sup>12</sup> Священники.

<sup>13</sup> Ты говоришь на аргю.

<sup>14</sup> Вор.

<sup>15</sup> Зарезал человека.

<sup>16</sup> Каторги.

<sup>17</sup> Судьями.

<sup>18</sup> Не воровал.

– Ладно, позабудем о драке, ведь ты мой победитель, признаю это; ты здорово владеешь кулаками... А этот град ударов в конце! Дьявольщина! Как они были отработаны! Ничего похожего я еще не испытывал... Какой-то новый прием... Ты должен обучить меня.

– Ну что ж, попробуем еще разок, как только ты захочешь.

– Только не на мне, слышишь, не на мне! – воскликнул Поножовщик со смехом. – У меня до сих пор голова гудит. Значит, ты знаком с Красноруким, раз был в крытом проходе его дома!

– С Красноруким? – переспросил неизвестный, удивленный вопросом, и добавил равнодушно: – Понятия не имею, кто такой этот Краснорукий; вероятно, не он один живет в этом доме?

– Вот именно, что один... У Краснорукого есть причины не любить соседей, приятель, – сказал Поножовщик, как-то странно ухмыляясь.

– Что ж, тем лучше для него, – заметил неизвестный, которому, видно, претил этот разговор. – Для меня что Краснорукий, что Чернорукий – один черт. Я о таких и не слыхивал. Шел дождь, я забежал в какой-то проход, чтобы не промокнуть. Ты хотел побить эту несчастную девушку, а вышло, что я побил тебя, вот и весь сказ.

– Правильно, твои дела меня не касаются; те, кто нуждается в Красноруком, не кричат об этом на всех перекрестках. Позабудь о нем.

Обратившись затем к Певунье, он сказал:

– Честное слово, ты славная девушка: я шлепнул тебя, ты ударила меня ножницами – пошутили, и ладно. А ты хорошо сделала, что не подзуживала этого полоумного, когда я свалился к его ногам и мне уже было не до драки... Пойдешь выпить чего-нибудь с нами? Победитель платит! Кстати, приятель, – обратился он к неизвестному, – вместо того чтобы дерябнуть купоросу, не лучше ли скоротать вечеруху у хозяйки «Белого кролика»? Это недурной кабак.

– По рукам... я плачу за ужин. Пойдешь с нами, Певунья? – спросил он у девушки.

– Спасибо, сударь, – ответила она, – я была очень голодна, а от вашей потасовки меня чуть не стошнило.

– Полно, полно, аппетит приходит во время еды, – проговорил Поножовщик, – к тому же жратва в «Белом кролике» что надо.

И все трое в полном согласии направились в таверну.

Во время борьбы Поножовщика с неизвестным какой-то угольщик огромного роста, притаившийся в крытом проходе соседнего дома, с беспокойством наблюдал за дракой, не помогая, как мы знаем, ни одному из противников.

Неизвестный, Поножовщик и Певунья направились к таверне, угольщик последовал за ними.

Когда разбойник и Певунья вошли в кабачок, к неизвестному, шедшему последним, приблизился угольщик и сказал ему по-английски тихо, почтительно, но с явной укоризной:

– Будьте осторожны, монсеньор!

Неизвестный пожал плечами и присоединился к своим спутникам.

Угольщик остался на улице у двери кабака: напрягая слух, он время от времени поглядывал в щелку толстого слоя испанских белил, которыми в подобных заведениях покрывают внутреннюю сторону стекол.



*– Будьте осторожны, монсеньор!*

## Глава II

### Людоедка

Кабак «Белый кролик», расположенный почти на середине Бобовой улицы, занимает нижний этаж высокого дома, фасад которого прорезан двумя опускными окнами.

Над дверью, ведущей в темный сводчатый проход, висит продолговатый фонарь, на треснутом стекле которого выведены красной краской следующие слова: «Здесь можно переночевать».

Поножовщик, неизвестный и Певунья вошли в таверну.

Представьте себе обширную залу под низким закопченным потолком с выступающими черными балками, освещенную красноватым светом дрянного кенкета. На оштукатуренных стенах видны кое-где непристойные рисунки и изречения на аргю.

Земляной пол, пропитанный селитрой, покрыт грязью; охапка соломы лежит вместо ковра у хозяйской стойки, находящейся справа от двери под кенкетом.

По бокам залы расставлены по шести столов, прочно приделанных к стенам, так же как и скамейки для посетителей. В глубине залы – дверь на кухню; справа от стойки – выход в коридор, который ведет в трущобу, где постояльцы могут провести ночь за три су с человека.

Теперь несколько слов о Людоедке и о посетителях ее кабака.

Прозвище хозяйки – мамаша Наседка; у нее три занятия: сдавать койки бездомным, содержать кабак и давать напрокат одежду несчастным девушкам, которыми кишат эти омерзительные улицы.

Хозяйке лет сорок. Она высока ростом, крепка, дородна, красноморда, а на подбородке ее торчат жесткие волоски. Грубый голос Людоедки, ее толстые руки и широченные ладони говорят о незаурядной силе; поверх чепца она носит старый красно-желтый платок и завязывает на спине скрепленную на груди шаль из кроличьей шерсти; подол ее зеленого шерстяного платья доходит до черных сабо, не раз опаленных на жаровне, что стоит у ее ног; цвет лица Людоедки смуглый с багровым румянцем, говорящим о злоупотреблении ликерами. Плакированная свинцом стойка заставлена жбанами с набитыми на них металлическими обручами и разной величины оловянными кружками; рядом на полке бросаются в глаза несколько бутылок в виде фигуры Императора во весь рост. Налитые в них розовые или зеленые напитки с примесью спирта известны под названием «Идеальная любовь» и «Утешение».

Жирный черный кот с желтыми глазами, свернувшийся клубком возле хозяйки, кажется хранителем этих мест.

А в силу контраста, который показался бы немыслимым всякому, кто не знает, что человеческая душа – книга за семью печатями, из-за старых часов с кукушкой торчит ветка освященного бунда, купленного Людоедкой в церкви в день Светлого Воскресения.

Двое мужчин в отрепьях, со зловещими рожами и взъерошенными бородами, почти не притронулись к поданному им вину; они переговаривались между собой, то и дело тревожно озираясь.

Один из них, с очень бледным, почти бескровным лицом, часто надвигал до самых бровей свой засаленный греческий колпак и тщательно прятал левую руку, стараясь по возможности скрыть ее, даже когда приходилось ею пользоваться.

Неподалеку от них сидел юноша, едва достигший шестнадцати лет, с безбородым, худым, болезненным лицом и угасшим взглядом; его длинные черные волосы падали на плечи: этот подросток – олицетворение ранних пороков – курил короткую пенковую трубку. Привалившись спиной к стене, заложив руки в карманы блузы и вытянув ноги вдоль скамьи, он вынимал изо рта трубку лишь для того, чтобы присосаться к горлышку стоящей перед ним бутылки водки.

Другие завсегдатаи кабачка – и мужчины и женщины – ничем не привлекали внимания; у одних были свирепые, у других отупевшие лица, здесь шло грубое, непристойное веселье, там стояла мрачная и гнетущая тишина.

Таковы были посетители кабака, когда неизвестный, Поножовщик и Певунья вошли в залу.

Все трое играют такую важную роль в нашем повествовании, характер каждого из них столь ярок и своеобразен, что мы более подробно остановимся на каждом из них.

Поножовщик – человек высокого роста и атлетического телосложения; у него светлые, белесоватые волосы, густые брови и огромные ярко-рыжие бакенбарды.

Загар, нищета, тяжкий труд на каторге придали лицу Поножовщика темный, желтовато-коричневый цвет, свойственный людям этого сорта.

Несмотря на устрашающее прозвище, черты его лица выражают не жестокость, а скорее необузданную отвагу, хотя задняя, чрезмерно развитая часть черепа свидетельствует о чувственности и склонности к убийству.

На Поножовщике потрепанная синяя блуза и плисовые штаны, видимо бывшие некогда зелеными, ибо цвет их трудно различить под толстым слоем грязи.

В силу какой-то странной аномалии личико Певуни принадлежит к тому целомудренному, ангелоподобному типу, который остается неизменным среди разврата, как будто человеческое существо бессильно изгладить своими пороками печать благородства, запечатленную Богом на челе иных избранных натур.

Певунья шестнадцать с половиной лет.

У нее чистый, белоснежный лоб и лицо безупречно овальной формы; длинные, слегка загнутые ресницы наполовину затемяют ее большие голубые глаза. Пушок ранней юности покрывает округлые румяные щеки. Ее алый ротик, тонкий и прямой нос, подбородок с ямочкой ласкают взор своим изяществом. На ее нежных, как атлас, висках закругляются две великолепные пепельные косы, которые, оставив на виду розоватые, как лепестки роз, мочки ушей, исчезают под тугими складками ситцевого платка в голубую клетку, завязанного по-простонародному надо лбом.

Ее красивая шейка ослепительной белизны охвачена маленьким коралловым ожерельем. Под платьем из коричневого бомбазина, слишком для нее широким, угадывается тонкая, округлая и гибкая, как тростник, талия, дешевенькая оранжевая шаль с зеленой бахромой перекрещивается на ее груди.

Голос Певуни недаром поразил ее неизвестного защитника. В самом деле, этот нежный, звонкий, мелодичный голос обладал такой чарующей силой, что проходимцы и падшие женщины, среди которых жила эта обездоленная девушка, нередко умоляли ее спеть что-нибудь, слушали песню затаив дыхание и прозвали девушку Певуньей.

У Певуни имелось еще одно прозвище, которым она была обязана девственной чистоте своего облика, а именно Лилия-Мария, что означает на жаргоне – Пречистая.

Попробуем передать читателю испытанное нами странное чувство, когда среди мерзких жаргонных слов, говорящих о краже, крови, убийстве, слов, еще более отвратительных и страшных, чем те понятия, которые они выражают, мы обнаружили метафору «Лилия-Мария», проникнутую поэзией и наивным благочестием.

Так и кажется, что видишь прекрасную лилию, расцветшую на ниве злодеяний и возносящую к небу свою белоснежную душистую чашечку!

Диковинный контраст, странная случайность! Создатели этого жуткого языка поднялись здесь до истинной поэзии, наделив особым очарованием тот образ, который жил в их душе.

Размышляя о других контрастах, которые нередко нарушают ужасающее однообразие жизни закоренелых преступников, невольно приходишь к мысли, что иные, так сказать, врож-

денные принципы морали и благочестия зажигают порой яркий свет в самых черных душах. Негодяи без проблеска человечности довольно редки.

Защитнику Певуни (назовем неизвестного Родольфом) было на вид лет тридцать пять – тридцать шесть; ни средний рост его, ни стройная, на редкость пропорциональная фигура не предвещали, казалось, той поразительной силы, которую он проявил в борьбе с атлетически сложенным Поножовщиком.

Определить подлинный характер Родольфа нелегко – столько странных противоречий в его внешности.

Черты его правильны, красивы, быть может, даже слишком красивы для мужчины.

Матовая бледность лица, большие желтовато-карие глаза, почти всегда полуприкрытые и окруженные синеваой тенью, небрежная походка, рассеянный взгляд, ироническая улыбка – все это, казалось, говорило о человеке пресыщенном, здоровье которого подорвано жизнью в роскоши и аристократическими излишествами.

И однако, своей изящной белой рукой Родольф только что сразил одного из самых сильных и грозных разбойников этого разбойничьего квартала.

Мы употребили выражение «аристократические излишества» потому, что опьянение благородным вином резко отличается от опьянения каким-нибудь отвратительным, смешанным со спиртом пойлом, – словом, потому, что в глазах наблюдательного человека излишества различны не только по своим проявлениям, но и по самой природе и сущности.

Иные складки лба изобличали в Родольфе глубокого мыслителя, человека преимущественно созерцательного склада... и вместе с тем твердые очертания рта, властная, смелая посадка головы говорили о человеке действия, чья отвага и физическая сила неизменно оказывают неодолимое влияние на толпу.

Нередко в его глазах сквозила глубокая печаль, а выражение лица говорило о сердечном участии и трогательной жалости. А иной раз взгляд Родольфа становился хмурым, злым, в лице появлялось столько презрения и жестокости, что не верилось, будто этому человеку присущи добрые чувства.

Читатель узнает из продолжения этого повествования, какого рода события и мысли вызывали у Родольфа столь противоречивые чувства.

В борьбе с Поножовщиком он не проявил ни гнева, ни ненависти к недостойному противнику. Уверенный в своей силе, в своей ловкости и проворстве, он испытал лишь насмешливое презрение к неотесанному верзиле, который не мог противостоять ему.

В дополнение к портрету Родольфа скажем, что у него были светло-каштановые волосы такого же оттенка, как и дугообразные, благородного рисунка брови и тонкие, шелковистые усы; его немного выступавший вперед подбородок был тщательно выбрит.

Впрочем, благодаря тому, что Родольф прекрасно усвоил манеры и язык окружающей среды, он ничем не выделялся среди завсегдатаев Людоедки. Его шея столь же совершенной формы, что и у индийского Бахуса<sup>19</sup>, была небрежно повязана черным галстуком, концы которого ниспадали на выцветшую синюю блузу. Его грубые башмаки были снабжены двойным рядом шипов, – словом, за исключением рук Родольфа с их редким изяществом, ничто во внешности этого человека не бросалось в глаза; только решительный вид и, если можно так выразиться, спокойная отвага выделяли его среди посетителей кабака.

Войдя в кабак, Поножовщик положил свою широкую волосатую руку на плечо Родольфа и провозгласил:

– Приветствуйте победителя Поножовщика!.. Да, друзья, этот молодчик только что отду-  
басил меня... Предупреждаю драчунов: не связывайтесь с ним, не то останетесь со сломан-

---

<sup>19</sup> Античные статуи Бахуса, установленные в Ватикане и Лувре. (Примеч. перев.)

ной поясницей или с расколотым кочаном<sup>20</sup>. Грамотей и тот найдет на себя управу... Ручаюсь, голову даю на отсечение!

При этих словах все присутствующие – от хозяйки до последнего завсегдатая кабака – взглянули с робким уважением на победителя Поножовщика.

Одни, отодвинув стаканы и кувшины на середину стола, поспешили предложить место Родольфу на тот случай, если он пожелает сесть рядом с ними; другие подошли к Поножовщику, чтобы потихоньку вывести у него, кто этот незнакомец, что так победоносно появился в их кругу.

Наконец Людоедка обратилась к Родольфу с любезнейшей улыбкой и – вещь неслыханная, невообразимая, баснословная на пиршествах в «Белом кролике» – встала из-за стойки, чтобы выслушать пожелания своего гостя и узнать, что следует подать пришедшей с ним компании – такого внимания Людоедка никогда не оказывала даже пресловутому Грамотею, гнусному негодяю, наводившему страх на самого Поножовщика.

Один из двух мужчин, о которых мы уже говорили выше (человек с бескровным злоеющим лицом, то и дело надвигавший на лоб свой греческий колпак и прятавший левую руку), наклонился к Людоедке, старательно вытиравшей стол, предназначенный Родольфу, и хрипло спросил:

– Грамотей не приходил сегодня?

– Нет, – ответила мамаша Наседка.

– А вчера?

– Вчера приходил.

– Один или со своей новой барулей?<sup>21</sup>

– Это еще что? Уж не принимаешь ли ты меня за легавую?<sup>22</sup> Все спрашиваешь да выпрашиваешь! Неужто, по-твоему, я капаю<sup>23</sup> на своих клиентов? – грубо возразила хозяйка.

– У меня сегодня встреча с Грамотеем, – ответил разбойник. – Дельце одно наклевывается.

– Хорошенькое, видно, у вас дельце, мокрушники<sup>24</sup>, другого названия вам нет!

– Мокрушники! – раздраженно повторил ее собеседник. – А кто, как не они, кормят тебя.

– Заткнись! Оставь меня в покое! – вскричала Людоедка, угрожающе подняв над его головой жбан с вином.

Недовольно ворча, тот уселся на свое место.

Войдя в таверну Людоедки вслед за Поножовщиком, Лилия-Мария дружески кивнула юнцу с испитым лицом.

А Поножовщик сказал ему:

– Ну как, Крючок, ты по-прежнему хлещешь купорос?

– Да, по-прежнему. По мне, уж лучше не хрюпать вовсе и носить опорки на ходунах, чем обходиться без купороса в хомуте и бокуна в файке<sup>25</sup>, – ответил юнец надтреснутым голосом, не меняя позы и пуская густые клубы табачного дыма.

– Добрый вечер, мамаша Наседка, – проговорила Певунья.

– Добрый вечер, Лилия-Мария, – ответила Людоедка, подойдя к девушке, чтобы осмотреть одежду, которую позволила ей поносить. – Одно удовольствие давать тебе вещи напрокат... – сказала она хмуро, придиричиво оглядев несчастную, – ты чистенькая, как кошечка...

---

<sup>20</sup> Головой.

<sup>21</sup> Женой.

<sup>22</sup> Доносчицу.

<sup>23</sup> Я выдаю.

<sup>24</sup> Убийцы.

<sup>25</sup> Голодать и ходить в стоптанных башмаках, чем оставаться без водки и без табака в трубке.

Зато я уж нипочем не доверила бы эту красивую шаль таким негодницам, как Вертихвостка и Мартышка. Правда, это я натаскала тебя, когда ты вышла из тюрьмы... и, надо признаться, во всем старом городе нет у меня лучшей выученицы.

Певунья опустила голову и, казалось, отнюдь не была горда похвалами мамыши Наседки.

– Что это, мамаша, – обратился Родольф к Людоедке. – Никак, за вашими часами с кукушкой торчит ветка букса?

И он указал на освященную ветку, заложенную за старые часы.

– Да неужто мы должны жить как язычники? – простодушно заметила мерзкая баба.

Затем, обратившись к Марии, она спросила:

– Скажи-ка, Певунья, не споешь ли ты нам одну из своих песенок?

– Нет, нет, мамаша Наседка. Прежде всего мы поедим, – вмешался Поножовщик.

– Что прикажете подать вам, приятель? – спросила Людоедка у Родольфа, чье расположение ей хотелось завоевать, а может, и воспользоваться при случае его поддержкой.

– Спросите у Поножовщика, мамаша, он угощает, я плачу.

– Так чего ты хочешь на ужин, бездельник? – обратилась к нему хозяйка.

– Два литра вина по двенадцати сантимов, большую порцию бульонки<sup>26</sup> и три мягких краюхи хлеба, – сказал Поножовщик после недолгого размышления.

– Вижу, ты обжора, как и прежде. И всему предпочитаешь бульонку!

– Ну как, Певунья, – спросил Поножовщик, – ты еще не проголодалась?

– Нет, Поножовщик.

– Может быть, тебе заказать что-нибудь другое, детка? – спросил Родольф.

– О нет, спасибо... Мне все еще не хочется есть...

– Да взгляни ж ты на моего победителя, – проговорил с громким смехом Поножовщик, указывая на Родольфа. – Или ты не смеешь построить ему глазки?

Певунья ничего не ответила, покраснела и опустила голову.

Вскоре хозяйка собственноручно принесла и поставила на стол жбан вина, хлеб и миску бульонки – кушанье, которое мы не в силах описать, хотя оно, видимо, пришлось по вкусу Поножовщику.

– Что за блюдо! Клянусь богом! – воскликнул он. – Что за блюдо! Чего тут только нет, еда на все вкусы, и для скоромников, и для постников, для сластен и для любителей соли и перца... Ребрышки дичи, рыбы хвосты, косточки от отбивных котлет, кусочки паштета, поджарка, овощи, головки вальдшнепов, сыр, зеленый салат, бисквит. Да ешь ты, Певунья... А как приготовлено! Уж не кутнула ли ты ненароком сегодня утром?

– Кутнула? Как бы не так! Я съела то же, что и всегда: на одно су молока и на одно су хлеба.

Появление в кабаке нового лица прервало все разговоры и всех заставило поднять головы.

Это был человек средних лет, крепко сбитый, подвижный, в куртке и фуражке. Знакомый с обычаями кабака, он заказал себе ужин на принятом здесь языке.

Хотя новоприбывший не принадлежал к завсегдатаям кабака, на него вскоре перестали обращать внимание: мнение о нем было составлено.

Чтобы узнать «своего» человека, разбойникам, как и честным людям, достаточно одного взгляда.

Вновь прибывший сел так, чтобы ему было удобно наблюдать за двумя субъектами со зловещими лицами, один из которых справлялся о Грамотее. Он и в самом деле не спускал с них глаз, но их столик стоял так, что они не замечали этой слежки за ними.

---

<sup>26</sup> Бульонка – мешанина из мясных, рыбных и других остатков со стола слуг аристократических домов. Нам неловко приводить такие подробности, но они дают более полную картину подаваемых в кабаке блюд.

Временно прерванные разговоры возобновились. Несмотря на свою отвагу, Поножовщик обращался с Родольфом почтительно, не смел говорить ему «ты».

– Право слово, – сказал он Родольфу, – хотя я и получил хорошую трепку, а все же польщен, что встретился с вами.

– Потому, что заказанное блюдо пришлось тебе по вкусу?..

– Не только... Главное потому, что мне не терпится увидеть вашу потасовку с Грамотеем: он всегда избивал меня, и я буду рад... когда его тоже избьют.

– Вот еще, неужто ты думаешь, что ради твоего удовольствия я наброшусь, как бульдог, на Грамотея?

– Нет, он сам набросится на вас, как только узнает, что вы сильнее его, – ответил Поножовщик, потирая руки.

– У меня в запасе достаточно разменной монеты, чтобы выдать ему все, что полагается, – небрежно заметил Родольф и, помолчав, добавил: – Погода нынче стоит собачья... Не заказать ли нам водки с сахаром? Быть может, это воодушевит ее, и она споет нам что-нибудь...

– Дело подходящее, – согласился Поножовщик.

– А чтобы поближе познакомиться, мы откроем друг другу, кто мы такие, – предложил Родольф.

– Альбинос, – представился Поножовщик, – бывший каторжник, а теперь рабочий, выгружающий сплавной лес на набережной Святого Павла. Зимой мерзну, летом жарюсь на солнце – таковы мои дела, – заявил гость Родольфа, отдавая ему честь левой рукой. – Ну а вы кто будете? – продолжал он. – Вы впервые объявились в здешних местах... и, не в обиду будь вам сказано, лихо обработали мою башку и лихо выбили барабанную дробь на моей шкуре. Батюшки мои! Какие это были тумак! Особенно последние... Не могу их забыть: как здорово все было проделано... Какой град ударов! Но у вас, верно, есть и другое дело, не только колошматить Поножовщика!

– Я мастер по раскраске вееров! А зовут меня Родольф.

– Мастер по веерам! Так вот почему у вас такие белые руки, – сказал Поножовщик. – Но если все ваши собратья похожи на вас, выдать, это дело требует изрядной силы... А коли вы ремесленник, и конечно же честный, зачем пришли сюда, ведь в здешних местах бывают только воры, убийцы и бывшие каторжники вроде меня, потому как другие места нам заказаны?

– Я пришел сюда потому, что люблю хорошую компанию...

– Гм!.. Гм!.. – пробормотал Поножовщик, с сомнением качая головой. – Я встретил вас в крытом проходе дома Краснорукого; впрочем, молчу... Вы говорите, что не знакомы с ним?

– Долго ты еще будешь донимать меня своим Красноруким? Чтоб ему вечно гореть в адском пламени, если это придется по вкусу Люциферу.

– Ладно, приятель, вы, верно, мне не доверяете, может, вы и правы. Хотите, я расскажу вам свою историю?.. Но при условии, что вы научите меня наносить те удары, которыми закончилась моя взбучка... Мне это позарез нужно.

– Согласен, Поножовщик, ты расскажешь свою историю... а Певунья расскажет нам свою.

– Идет, – сказал Поножовщик, – погода стоит такая, что и полицейского не выманишь на улицу... Это нас позабавит... Ты не против, Певунья?

– Нет, только мне особенно нечего рассказывать... – ответила Лилия-Мария.

– И вы тоже расскажете нам о себе, приятель? – спросил Поножовщик.

– Да, я начну первый.

– Мастер по раскраске вееров, – проговорила Певунья, – какое хорошее ремесло.

– А сколько вы получаете за свои веера? – спросил Поножовщик.

– Я работаю сдельно, – ответил Родольф. – Если повезет, выколачиваю четыре, а то и пять франков в день, но это летом, когда долго бывает светло.

– И вы часто погуливаете, бездельник?

– Да, когда я при деньгах, то трачу немало: во-первых, шесть су за ночь в меблированной комнате.

– Я не ослышался, монсеньор... вы платите шесть су за ночь! – проговорил Поножовщик, прикладывая руку к шапке...

Обращение «монсеньор», прозвучавшее иронически в устах Поножовщика, заставило улыбнуться Родольфа.

– Да, я люблю удобства и чистоту, – продолжал он.

– Поглядите на этого пэра, на этого банкира, на этого богача! – вскричал Поножовщик. – Он платит шесть су за ночлег!

– Кроме того, – продолжал Родольф, – я трачу четыре су на табак, выходит уже десять су; четыре су – за завтрак, четырнадцать–пятнадцать су – за обед, одно или два су за водку – словом, около тридцати су в день. Мне не приходится работать всю неделю напролет: в свободное время я кучу.

– А ваша семья? – спросила Певунья.

– Мои родители умерли от холеры.

– А кем они были? – спросила Певунья.

– Старьевщиками, торговали старым тряпьем на Главном Рынке.

– И за сколько вы продали их дело? – спросил Поножовщик.

– Я был тогда слишком молод, все продал мой опекун. Когда я стал совершеннолетним, мне еще пришлось вернуть ему тридцать франков... Вот и все мое наследство.

– А на кого же вы работаете?

– Мою обезьяну<sup>27</sup> зовут Борель с улицы Бурдонне. Болван и притом груб; вороват и скуп. Ему легче потерять глаз, чем расплатиться со своими работниками. Таковы его приметы. Если он заблудится, не разыскивайте его, пропади он пропадом. Я учился у него своему ремеслу с пятнадцати лет; в армии я не служил, вытянул счастливый номер. Живу я в старом еврейском квартале, в комнате на пятом этаже, окнами на улицу; зовут меня Родольф Дюран. Вот и вся моя история.

– А теперь твой черед, Певунья, – сказал Поножовщик, – свою историю я оставлю на закуску.

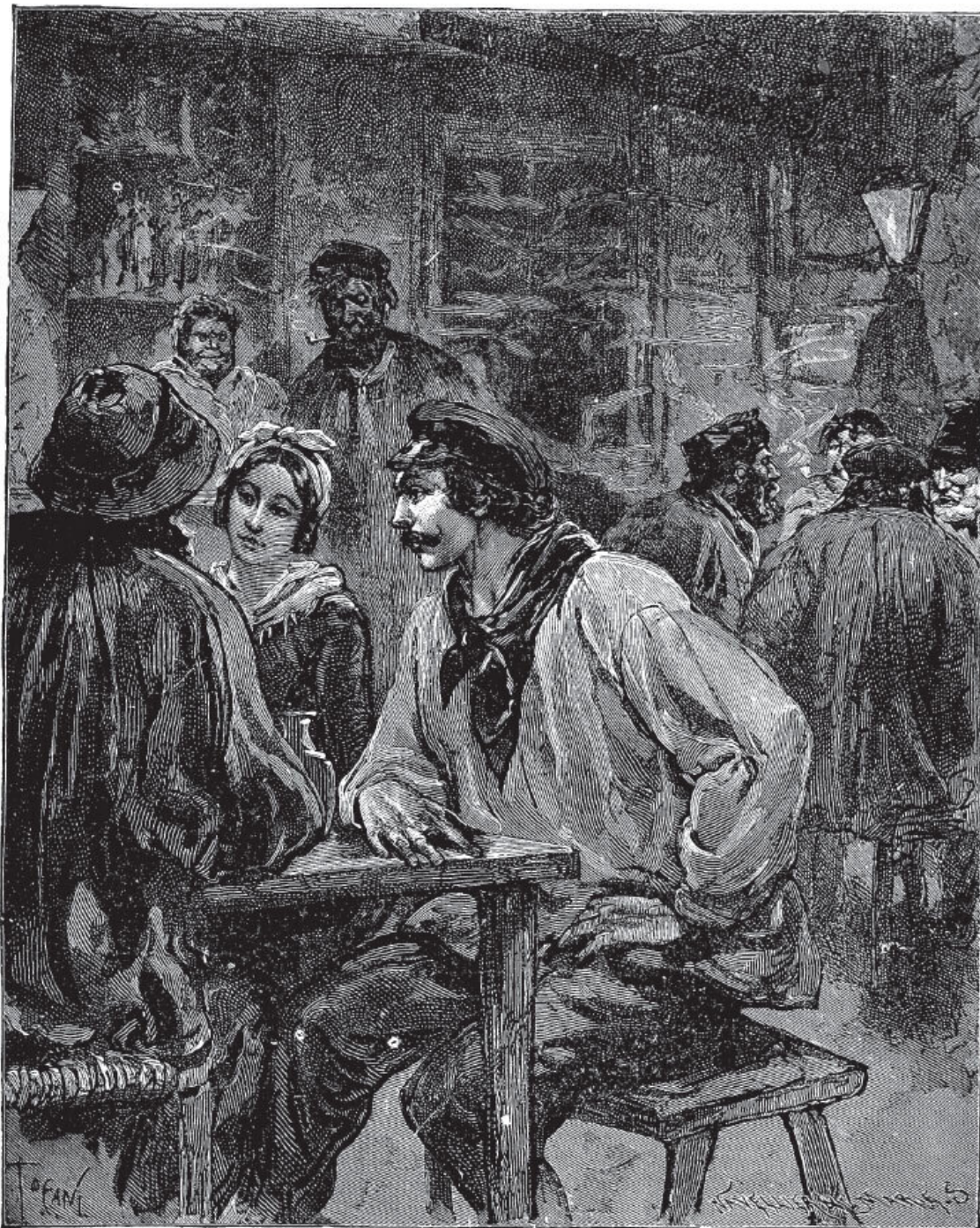
---

<sup>27</sup> Хозяина.

## Глава III

### История певуньи

- Начнем с самого начала, – сказал Поножовщик.
- Да... с твоих родителей! – подхватил Родольф.
- Я их не знаю... – ответила Лилия-Мария.
- Как так? – вырвалось у Поножовщика.
- Я о них слыхом не слыхала. Меня нашли в капусте, как говорят маленьким детям.
- Ну и ну! Выходит, Певунья, мы с тобой из одного семейства!..
- У тебя тоже не было дома, Поножовщик?
- Я сирота, и дом мой – парижские улицы, как, верно, и у тебя, дочка.
- А кто же воспитал тебя, Певунья? – спросил Родольф.
- Сама не знаю, сударь... Сколько я себя ни помню, кажется, мне было лет семь-восемь, я жила с одноглазой старухой. Ее прозвали Сычихой из-за крючковатого носа и единственного круглого зеленого глаза, как у окривевшей птицы.
- Ха!.. Ха!.. Ха!.. Я так и вижу эту стерву, – вскричал, смеясь, Поножовщик.
- По вечерам одноглазая старуха, – продолжала Лилия-Мария, – посылала меня для вида продавать леденцы на Новом мосту а на самом деле заставляла просить милостыню... Если я собирала меньше десяти су, она била меня и морила голодом.



– Начнем с самого начала, – сказал Поножовщик.

– Понятно, дочка, – сказал Поножовщик, – пинок вместо хлеба и несколько подзатыльников в придачу.

– Бог ты мой, так я и жила.

– А ты уверена, что эта женщина не была твоей матерью? – спросил Родольф.

– Понятно, уверена: Сычиха то и дело попрекала меня, что я круглая сирота, что нет у меня ни отца, ни матери, клялась, будто подобрала меня на улице.

– Итак, – сказал Поножовщик, – ты получала вместо еды колотушки, если приносила домой меньше десяти су!

– На ночь я выпивала стакан воды и зарывалась в охапку соломы, брошенную Сычихой прямо на пол; говорят, будто солома греет. Какое там! Иной раз я всю ночь напролет дрожала от холода.

– Еще бы, эти перья из босса<sup>28</sup> холодят, как лед, ты права, милочка, – воскликнул Поножовщик, – навоз во сто крат лучше! Но люди воруют от него нос: подстилка, мол, не первой свежести: побывала в брюхе животного.

Эта шутка вызвала улыбку на губах Лилии-Марии.

– Утром Сычиха давала мне с собой немного еды, сразу на завтрак и обед, и посылала на Монфокон за червями для наживки: ведь, кроме всего, она торговала удочками под мостом Парижской Богоматери. А дорога от Дробильной улицы, где мы жили, до Монфокона неблизкая, особенно для голодного и озябшего семилетнего ребенка.

– Ходьба укрепила тебя, и ты выросла прямая как тростинка, тебе не на что жаловаться, доченька, – сказал Поножовщик, высекая искру из огнива, чтобы раскурить трубку.

– Домой я возвращалась очень усталая, – продолжала свой рассказ Певунья. – Тогда около полудня Сычиха давала мне еще кусочек хлеба.

– От такого поста, дочка, талия у тебя стала тонкая, как у осы, не стоит жаловаться, – заметил Поножовщик, делая несколько глубоких затяжек. – Но что это с вами, приятель? Простите, я хотел сказать, господин Родольф; вид у вас какой-то чудной. Неужто из-за того, что эта девчонка столько намыкалась? Право, все мы намыкались, все жили в нищете.

– О, я ручаюсь, Поножовщик, что у тебя было меньше бед, чем у меня, – проговорила Лилия-Мария.

– У меня, Певунья? Да знаешь ли ты, девочка, что ты жила как королева по сравнению со мной! По крайней мере, в детстве ты спала на соломе и ела хлеб! Я же, когда повезет, проводил ночи в Клиши, в печи для обжига гипса, как настоящий шатун<sup>29</sup>, а голод утолял капустными листьями, что валяются возле придорожных тумб. Но идти в Клиши было далеко, а от голода у меня подгибались ноги, и чаще всего я спал под колоннами Лувра... зимой же просыпался иной раз под белыми простынями... когда шел снег.

– Мужчина куда выносливее, чем бедная худенькая девочка, – сказала Лилия-Мария, – к тому же я была маленькая, как воробышек.

– И ты еще помнишь об этом?

– Еще бы! Когда Сычиха принималась бить меня, я падала с первого же удара, тогда она пинала меня ногами, приговаривая: «У этой дуры сил ни на грош, она валится от одного щелчка». Старуха вечно звала меня воровкой, другого, настоящего имени, у меня не было, а Воровкой она меня сама окрестила.

– То же было и со мной, меня звали как придется, словно я был бездомным псом: мальчик, Альбинос, как тебя там. Поразительно, до чего у нас с тобой похожая судьба, дочка! – воскликнул Поножовщик.

– Это правда... если говорить о нищете, – сказала Лилия-Мария, все время обращаясь к Поножовщику.

Помимо воли она испытывала чувство, похожее на стыд, в присутствии Родольфа, и едва осмеливалась поднять на него глаза, хотя он, по-видимому, принадлежал к тем людям, среди которых она выросла.

– А что ты делала, когда Сычиха не посылала тебя за червями? – спросил Поножовщик.

– Одноглазая заставляла меня просить милостыню до самой ночи неподалеку от нее: ведь по вечерам она варила на Новом мосту большие ячменные леденцы. О, тогда о куске хлеба нечего было и думать! Если я, на свое горе, просила есть, Сычиха говорила, сопровождая свои

---

<sup>28</sup> Соломы.

<sup>29</sup> Бродяга.

слова колотушками: «Когда ты наберешь десять су милостыни, Воровка, я дам тебе поужинать». Иной раз от голода и побоев я принималась громко плакать. Одноглазая вешала мне на шею лоток с леденцами для продажи и заставляла стоять на месте неподалеку от нее. Сколько я там слез пролила, как дрожала от холода и голода!

– В точности как я, доченька, – сказал Поножовщик, прерывая Певунью, – кто бы мог подумать, что от голода дрожишь так же, как от холода.

– Словом, я оставалась на Новом мосту до одиннадцати часов вечера со своей выставкой леденцов на шее. Мои слезы... часто трогали прохожих, и я набирала иной раз десять, а то и пятнадцать су, которые и отдавала Сычихе.

– В самом деле, пятнадцать су – знатная выручка для такого воробышка, как ты!

– Еще бы! Но, видя это...

– Одним глазом, – заметил, смеясь, Поножовщик.

– Конечно, ведь другого у нее не было... Сычиха взяла за привычку бить меня и перед тем, как нам с ней идти на Новый мост, чтобы мои слезы вызывали жалость прохожих и увеличивали подавание.

– Это было не так уж глупо.

– Ты думаешь, Поножовщик? В конце концов я притерпелась к побоям; я видела, что Сычиха злится, если я не плачу, и, чтобы досадить ей, чем больнее она меня била, тем громче я смеялась, а по вечерам, вместо того чтобы обливаться слезами при продаже леденцов, я пела как жаворонок, хотя мне вовсе не хотелось... петь.

– Скажи-ка... эти леденцы... они, верно, очень соблазняли тебя, бедная моя Певунья?

– Еще бы, Поножовщик; и все же я ни разу не попробовала их. Но какой это был соблазн!.. Он-то и погубил меня... Однажды, когда я шла домой с Монфокона, какие-то мальчишки побили меня и утащили мою корзинку. Возвращаясь домой, я знала, что меня ожидают колотушки, а не корка хлеба. Вечером, до того как отправиться на мост, Сычиха, разъяренная тем, что накануне я ничего не собрала, принялась не бить меня, как обычно, а истязать до крови, вырывая у меня волосы на висках – место это самое чувствительное.

– Дьявольщина! Ну это уж слишком! – вскричал разбойник, сдвинув брови и ударяя кулаком по столу. – Бить ребенка – это не по мне... а истязать его... Чертова баба!

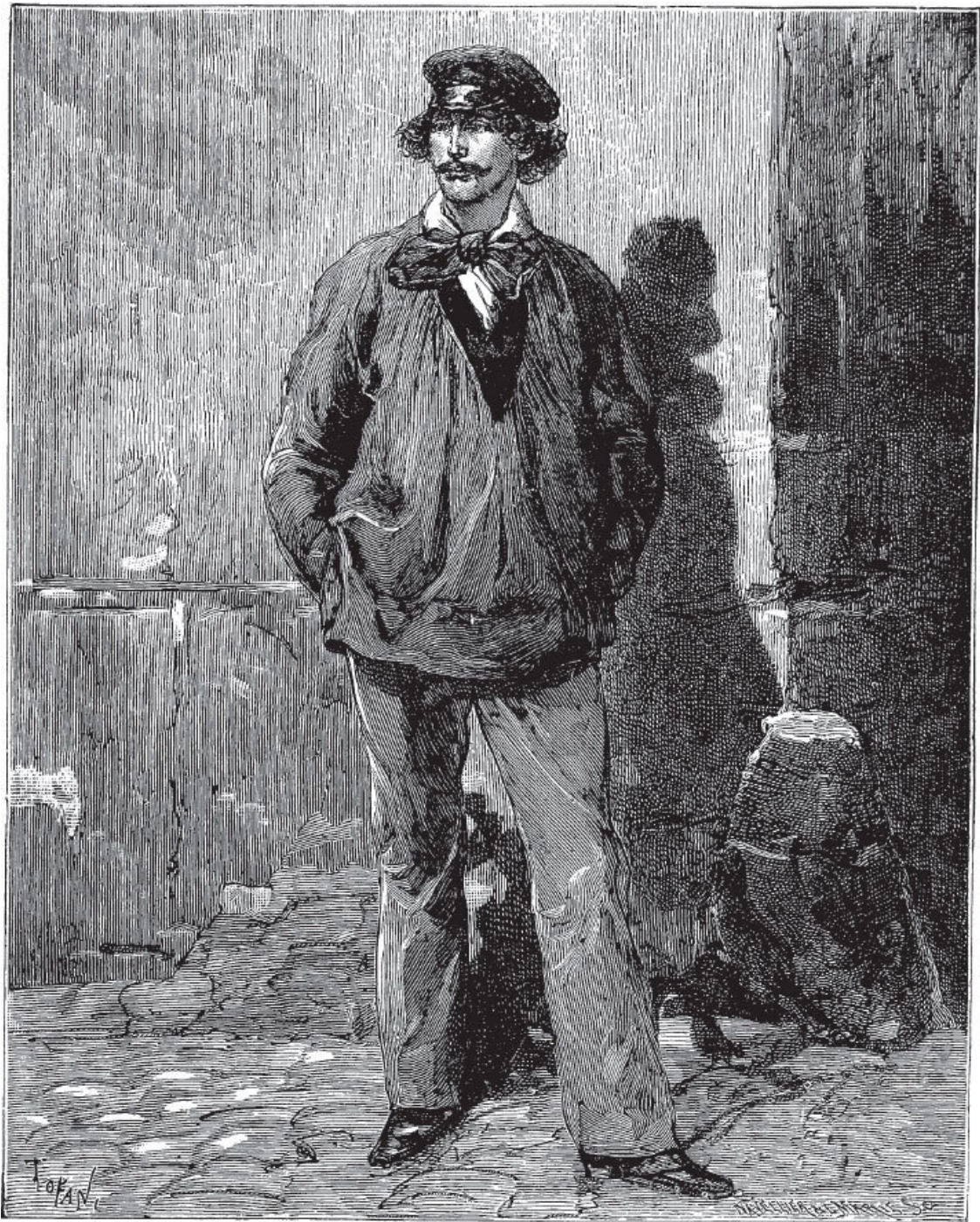
Родольф внимательно выслушал рассказ Лилии-Марии и теперь с удивлением смотрел на Поножовщика. Этот проблеск чувствительности удивлял его.

– Что с тобой, Поножовщик? – спросил он.

– Что со мной? Как, разве вас не трогает, что эта старая живодерка мучает ребенка? Неужто душа у вас такая же жесткая, как кулаки?

– Продолжай, девочка, – сказал Родольф, не отвечая на слова Поножовщика.

– Я уже говорила вам, что Сычиха тиранила меня, ей хотелось, чтобы я плакала; но меня это озлобило, и однажды, чтобы вывести ее из себя, я со смехом пришла на мост со своими леденцами. Одноглазая стояла у печки... И время от времени показывала мне кулак. А вместо того, чтобы плакать, я запела громче обычного, а между тем от голода у меня кишки свело. Я полгода продавала леденцы и ни разу их не попробовала. Ей-богу, в тот день я не удержалась... Отчасти от голода, отчасти чтобы позлить Сычиху, я беру один леденец и съедаю его.



*Родольф*

- Браво, дочка!
- Съедаю еще один.
- Браво, да здравствует хартия!!!<sup>30</sup>
- Леденцы казались мне такими вкусными! А тут торговка апельсинами принимается кричать: «Эй, Сычиха! Воровка поедает твои запасы!»

---

<sup>30</sup> Имеется в виду Конституционная хартия 1814 г., которая приобрела особое значение после ее пересмотра в 1830 г. (Примеч. перев.)

– Дьявольщина! Каша заваривается... заваривается каша, – проговорил Поножовщик, чрезвычайно заинтересованный рассказом. – Бедная мышка! Как ты, небось, задрожала, когда Сычиха заметила, что ты делаешь.

– Как же ты вышла из положения, бедная Певунья? – спросил Родольф, не менее заинтересованный, чем Поножовщик.

– Да, мне пришлось несладко! Но самое забавное, что одноглазая не могла отойти от своего варева, – проговорила, смеясь, Лилия-Мария, – хотя она и злобствовала, видя, что я поедаю ее леденцы.

– Ха!.. Ха!.. Ха!.. Что правда, то правда. Вот так положение! – воскликнул, хохоча, Поножовщик.

Посмеявшись вместе с ним, Лилия-Мария продолжала:

– Тут я подумала о побоях, которые меня ожидают, и сказала себе: «Плевать, все равно мне быть битой, что за один леденец, что за три». Беру третий леденец, вижу, что Сычиха издала угрожает мне своей большой железной вилкой, я помахиваю леденцом и съедаю его, ей-богу, не вру, у нее под носом.

– Bravo, дочка! Понимаю теперь, почему ты только что уколола меня ножницами. Полно, полно, я уже говорил об этом – смелости тебе не занимать. Но после твоей проделки Сычиха, видно, собралась живьем содрать с тебя кожу?

– Загасив свою печурку, она подходит ко мне. Милостыни я собрала на три су, а леденцов съела на целых шесть... Когда одноглазая взяла меня за руку, чтобы отвести домой, мне показалось, что я упаду, до того мне было страшно. Я помню тот вечер так ясно, словно наблюдала за собой со стороны. Как раз приближался Новый год. Ты знаешь, сколько лавок с игрушками на Новом мосту? Весь вечер у меня рябило в глазах только оттого, что я любовалась на красивых кукол, на их красивые домики. Подумай, как это занятно для ребенка.

– А у тебя никогда не было игрушек, Певунья?

– У меня? Ну и балда же ты! Да кто бы мне подарил их? Наконец вечер кончился, хотя стояла зима, на мне не было ни чулок, ни рубашки, одно только поношенное полотняное платье да сабо на ногах. Право, я не задыхалась от жары. Так вот, когда одноглазая взяла меня за руку, я вся вспотела. Больше всего меня пугало, что всю дорогу Сычиха что-то бубнила себе под нос, а не ругалась, не орала как обычно. Она только крепко держала меня за руку и заставляла идти быстро, так быстро, что мне приходилось бежать за ней. По дороге я потеряла сабо, но не смела сказать ей об этом и бежала дальше, ступая по тротуару босой ногой. Когда мы вернулись домой, вся нога у меня была в крови.

– Что за сволочь эта старуха! – вскричал Поножовщик, гневно ударяя кулаком по столу. – У меня сердце надывается, как подумаю, что девчущка семенит за этой стервой, несмотря на свою окровавленную ногу.

– Мы жили на Дробильной улице на чердаке. Внизу, рядом с входной дверью, помещался ликерщик. Сычиха входит к нему, по-прежнему держа меня за руку, и выпивает за стойкой полштофа водки.

– Черт возьми! Да если бы я столько выпил, то сразу бы окосел.

– Это была ее обычная порция. Недаром она ложилась спать вдрызг пьяная. Поэтому, наверное, она так больно била меня по вечерам. Поднимаемся к себе. Мне было невесело, можешь мне поверить. Сычиха запирает дверь на два поворота ключа, я бросаюсь к ее ногам и умоляю простить меня за то, что съела ее леденцы. Она не отвечает, и я слышу, как она бормочет, расхаживая по комнате: «Что мне сделать с ней сегодня вечером, с этой воровкой леденцов? Что мне такое с ней сделать?» Она останавливается и смотрит на меня, вращая своим зеленым глазом. Я все еще стою на коленях. Внезапно кривая подходит к полке и берет клещи.

– Клещи! – воскликнул Поножовщик.

- Да, клещи.
- Для чего?
- Чтобы бить тебя? – говорит Родольф.
- Чтобы щипать тебя? – говорит Поножовщик.
- Как бы не так!
- Чтобы вырывать у тебя по волоску?
- Не отгадали! Да и не пробуйте!
- Сдаюсь.
- Сдаемся.
- Чтобы вырвать у меня зуб<sup>31</sup>.

Поножовщик разразился такими ругательствами, такими яростными проклятиями, что посетители кабака взглянули на него с удивлением.

- В чем дело? Что с ним такое? – спросила Певунья.

– Что со мной? Да ее вглухую<sup>32</sup>, эту Сычиху, стоит ей попасть мне в руки!.. Где она? Скажи, Певунья, где она? Только бы мне найти эту чертовку, и я враз ее остужу<sup>33</sup>.

Глаза разбойника налились кровью.

Разделяя чувства Поножовщика, возбужденного жестокостью одноглазой, Родольф был поражен, что бывший убийца пришел в такое неистовство, услышав, что разъяренная старуха собирается вырвать зуб у ребенка.

Нам кажется, что такое чувство возможно, более того, вполне вероятно у жестокого человека.

– И что же, эта старая хрычовка все же вырвала у тебя зуб, бедная девочка? – спросил Родольф.

– Еще бы, конечно вырвала!.. Но не сразу! Боже мой! Как она корпела надо мной! Голову мою она зажала между коленями точно в тисках. Наконец, с помощью клещей и пальцев, она вытащила у меня зуб, а затем сказала, верно, чтобы напугать меня: «Теперь я буду каждый день вырывать у тебя по зубу, Воронка, а когда ты останешься без зубов, я брошу тебя в воду, и тебя съедят рыбы, они отомстят тебе за то, что ты ходила за червями для наживки». Я вспоминаю об этом, потому что такая месть показалась мне несправедливой. Как будто я ходила за червями для своего удовольствия.

– Что за подлюга! – вскричал с еще большей яростью Поножовщик. – Ломать, рвать зубы у ребенка!

- Что ж тут такого? Смотри, ведь теперь ничего не заметно? – проговорила Лилия-Мария.

И, улыбнувшись, она приоткрыла свои розовые губки и показала два ряда маленьких зубов, белых, как жемчужины.

Чем был вызван этот ответ несчастной Певуньи? Беззаботностью, забывчивостью, великодушием? Родольф заметил также, что в ее рассказе не было ни слова ненависти к ужасной женщине, мучившей ее в детстве.

- И что ж ты сделала на следующий день? – спросил Поножовщик.

– Право, я была вконец измучена. Наутро, вместо того чтобы идти за червями, я побежала в сторону Пантеона и шла весь день в одном и том же направлении, до того я боялась Сычихи. Я готова была отправиться на край света, лишь бы не попасть к ней в лапы. Очутилась я на глухой окраине, где не у кого было попросить милостыни, да я и не осмелилась бы это сделать. Ночь я провела на складе среди штабелей дров. Я была маленькая, как мышка, подлезла под

---

<sup>31</sup> Мы просим читателей, которые найдут эти жестокости неправдоподобными, вспомнить о почти ежегодных приговорах, выносимых озверевшим людям, которые бьют, истязают детей. Даже отцы и матери не чужды этим зверствам.

<sup>32</sup> Зарежу!

<sup>33</sup> Убью!

старые ворота и зарылась в кучу древесной коры. Мне так хотелось есть, что я принялась жевать тоненькую стружку, чтобы обмануть голод, но она оказалась слишком жесткой. Мне удалось откусить лишь кусочек березовой коры; березовая кора помягче. И тут я заснула. На рассвете я услышала какой-то шум и заползла дальше вглубь склада. Там было почти жарко, как в подвале. Если бы не голод, я еще никогда не чувствовала себя так хорошо зимой.

– В точности как я в моей гипсовой печи.

– Я не смела выйти со склада: боялась, что Сычиха разыскивает меня, чтобы вырвать мне зубы, а затем бросить в воду на съедение рыбам, и она, конечно, поймает меня, как только я сойду с места.

– Прошу, не говори больше об этой старой ведьме; у меня глаза наливаются кровью!

– Наконец на другой день я опять пожевала немного березовой коры и уже стала засыпать, когда меня внезапно разбудил громкий собачий лай. Прислушиваюсь... Собака продолжает лаять, приближаясь к штабелю дров, где я спряталась. Новая напасть! К счастью, собака, не знаю почему, не появлялась... Но ты будешь смеяться, Поножовщик.

– С тобой всегда можно посмеяться... Ты все же славная девочка. И ей-богу, я жалею, что ударил тебя.

– А почему тебе было и не ударить меня? Ведь у меня нет защитника.

– А я? – спросил Родольф.

– Вы очень добры, господин Родольф, но Поножовщик не знал, что вы окажетесь там... да и я не знала.

– Все равно от своих слов я не откажусь... Очень жалею, что ударил тебя, – повторил Поножовщик.

– Продолжай свой рассказ, детка, – сказал Родольф.

– Итак, я лежала, притулившись под штабелем дров, когда залаяла собака и чей-то грубый голос сказал: «Моя собака лает, кто-то спрятался на складе». – «Наверное, воры», – говорит другой голос. И оба они начинают науськивать собаку: «Пиль! Пиль!»

Собака бежит прямо на меня; испугавшись, я закричала что есть мочи. «Что это? – говорит первый голос, – как будто ребенок кричит...» Мужчины отзывают собаку, идут за фонарем, я выхожу из своего убежища и оказываюсь лицом к лицу с толстым мужчиной и с рабочим в блузе. «Что ты делаешь на моем складе, воровка?» – злобно спрашивает толстый человек. «Мой добрый господин, я не ела уже два дня; я убежала от Сычихи, которая вырвала у меня зуб и хотела бросить в реку на съедение рыбам; мне негде было переночевать, я подлезла под ваши ворота и проспала ночь на куче коры под вашими штабелями; я никому не хотела причинить зла».

Тут торговец говорит рабочему: «Меня такими рассказами не проведешь, эта девчонка – воровка, она пришла воровать мои дрова».

– Ах он, старый осел, старый болван! – вскричал Поножовщик. – Воровать его поленья, а тебе было всего восемь лет!

– Конечно, он сказал глупость... Рабочий правильно ответил: «Воровать ваши дрова, хозяин? Да откуда у нее силы возьмутся? Она меньше самого мелкого вашего полешка». – «Ты прав, – говорит толстяк. – Но воры часто учат детей шпионить за богатыми людьми и даже прятаться в их домах, чтобы ночью открывать входные двери своим сообщникам. Надо отвести ее в полицию».

– Ну и дурак стоеросовый этот торговец...

– Меня отводят в полицию. Я рассказываю все по порядку, выдаю себя за бродяжку; меня сажают в тюрьму, а затем уголовный суд отправляет меня за бродяжничество в исправительное заведение, где я должна пробыть до шестнадцати лет. Я горячо благодарю судей за их доброту... Еще бы... Понимаешь, в тюрьме меня кормили, никто не бил меня, это был рай по сравнению с чердаком Сычихи. Кроме того, в тюрьме я научилась шить. Но вот беда: я лени-

лась и любила бездельничать, мне нравилось петь, а не работать, особенно когда светило солнышко... О, если на дворе было ясно, тепло, я не могла удержаться и принималась петь... и тогда... как это ни странно, мне чудилось, что я на воле.

– Иначе говоря, деточка, ты прирожденный соловей, – сказал Родольф улыбаясь.

– Вы очень любезны, господин Родольф; с того времени меня стали звать Певуней, а не Воровкой. Наконец мне исполняется шестнадцать лет, и я выхожу из тюрьмы... За ее воротами меня встречает здешняя Людоедка и две-три старухи, которые навещали некоторых заключенных, моих приятельниц, и всегда говорили мне, что в день моего освобождения у них найдется для меня работа.

– А, вот оно что! Понимаю, – пробормотал Поножовщик.

– «Принцесса, ангелочек, красотка, – сказали мне Людоедка и старухи. – Хотите поселиться у нас? Мы оденем вас, как куколку, и вы ничего не будете делать, только веселиться». Ты смекаешь, Поножовщик, что я не зря провела восемь лет в тюрьме и понимала, что к чему. Я их послала к черту, этих старых сводниц, и сказала себе: «Я хорошо умею шить, скопила за это время триста франков, и я еще молода...»

– Да, молода и красива... дочка, – сказал Поножовщик.

– Я провела в тюрьме восемь лет и теперь хочу попользоваться жизнью, ведь это никому не повредит; а когда деньги кончатся, то и работа найдется... И я начинаю сорить деньгами. Это была большая ошибка, – прибавила Лилия-Мария со вздохом, – прежде всего мне надо было обеспечить себя работой... Но дать мне совет было некому... Словом, что сделано, то сделано... Итак, я принимаюсь тратить деньги. Прежде всего покупаю цветов, чтобы украсить свою комнату; я так люблю цветы! Потом покупаю платье, красивую шляпу и еду на осле в Булонский лес, еду в Сен-Жермен – тоже на осле.

– Небось с любовником, дочка? – спросил Поножовщик.

– Бог ты мой, нет; мне хотелось быть самостоятельной. Мы развлекались с моей товаркой по тюрьме, которая попала туда из воспитательного дома, хорошей такой девчонкой; ее звали по-разному, кто Риголеттой, кто Хохотушкой, потому что она постоянно смеялась.

– Риголетта? Хохотушка? Что-то не припомню такой, – сказал Поножовщик, видимо роясь в своих воспоминаниях.

– Еще бы, конечно, ты ее не знаешь: Хохотушка – честная девушка; она превосходная швея и теперь зарабатывает не меньше двадцати пяти су в день; и у нее собственное гнездышко... Вот почему я больше не посмела увидаться с ней. Я так усердно сорила деньгами, что под конец у меня осталось всего сорок три франка.

– На эти деньги тебе следовало купить ювелирный магазин, – пошутил Поножовщик.

– Признаться, я поступила лучше... Белье мне стирала женщина, родом из Лотарингии, кроткая, как овечка; в то время она была на сносях... А из-за своей работы ей вечно приходилось валандаться в воде... Представляешь? Работать прачкой она больше не может и просит принять ее в Бурб; мест там больше нет, и она получает отказ; бедняжка должна вот-вот родить, заработка больше нет, она даже не может заплатить за койку в меблированных комнатах! К счастью, как-то вечером она случайно встречает у моста Парижской Богоматери жену Губена, которая уже четыре дня прячется в подвале полуразрушенного дома, что находится позади больницы Отель-Дьё.

– А почему жена Губена должна была прятаться?

– Она боялась мужа, который хотел убить ее, и выходила только по ночам, чтобы купить себе хлеба. Таким образом она повстречала бывшую прачку, которая не знала, где приклонить голову, а ведь она скоро должна была родить... Жена Губена привела ее к себе в подвал. Все же это была крыша над головой.

– Погоди, погоди, жену Губена зовут Эльминой?

– Да, славная она женщина и хорошая портниха, – ответила Певунья, – она шила на меня и на Хохотушку... Словом, она сделала, что могла: отдала половину своего подвала, соломенной подстилки и хлеба бывшей прачке, которая родила там крохотного, жалкого ребеночка; а у женщин нет даже одеяла, чтобы завернуть его, ничего нет, кроме соломы!.. Тогда жена Губена не выдержала. Рискую встретить мужа, который повсюду разыскивал ее, она вышла среди бела дня на улицу, чтобы повидаться со мной; она знала, что у меня осталось еще немного денег и что я не жадная: как раз мы с Хохотушкой собирались сесть в аглицкую кабарлетку<sup>34</sup> и истратить мои последние сорок три франка на поездку за город, в поля, я так люблю деревню, люблю смотреть на деревья... траву... Но когда Эльмина рассказала мне о несчастье с прачкой, я отослала кабарлетку, бегом вернулась к себе домой, взяла постельное белье, матрас, одеяла, вызвала носильщика и поспешила с ним в подвал к жене Губена... Вы бы видели, как была довольна бедная роженица. Мы с Эльминой попеременно ухаживали за ней, а когда она поправилась, я помогала ей до тех пор, пока она не вернулась на свою прежнюю работу. Теперь она зарабатывает себе на жизнь, но мне никак не удастся всучить ей счет за стирку моего белья! Я прекрасно понимаю, что таким образом она хочет расплатиться со мной!.. Но... если так будет продолжаться, я откажусь от ее услуг, – важно проговорила Певунья.

– А что случилось с женой Губена?

– Как, ты не знаешь? – спросила Певунья.

– Нет, а в чем дело?

– Несчастливая женщина!.. Губен не промахнулся! Трижды всадил ей нож между лопатками! Он узнал, что ее видели возле больницы Отель-Дьё; как-то вечером подстерег ее, когда она вышла из подвала, чтобы купить молока для роженицы, и убил ее.

– Так, значит, ему амба<sup>35</sup> и, видно, через неделю его чикнут<sup>36</sup>.

– Вот именно.

– И что же ты сделала, девочка, когда истратила на роженицу свои последние деньги? – спросил Родольф.

– Я попробовала найти работу. Я хорошо умела шить, была предприимчивой, чувствовала себя уверенно; вхожу в белошвейную мастерскую на улице Святого Мартина. Мне не хотелось быть обманщицей; я говорю, что два месяца назад вышла из тюрьмы и ищу работу; мне указывают на дверь. Я прошу дать мне на пробу какое-нибудь шитье; хозяйка мастерской отвечает, что она не доверит мне даже рубашки, а просить об этом – значит считать ее за дуру. Когда я, убитая, возвращалась домой... мне повстречалась Людоедка и одна из старух, которые всегда приставали ко мне после выхода из тюрьмы... Я не знала, как жить дальше... Они увезли меня... напоили водкой!.. Вот и все.

– Понимаю, – сказал Поножовщик, – теперь я знаю тебя так же хорошо, как если был бы сразу твоим отцом и матерью и ты никогда не покидала бы меня. Вот это исповедь так исповедь!

– Можно подумать, будто ты жалеешь, что рассказала нам свою жизнь, деточка? – спросил Родольф.

– Вы правы, тяжело ворошить старое. Сегодня мне впервые случилось вспомнить обо всем, начиная с детства, а это невесело, не правда ли, Поножовщик?

– Ладно уж, – иронически сказал Поножовщик, – ты, видно, жалеешь, что не была кухонной девкой в какой-нибудь харчевне или прислугой у старых дураков и нянькой их старых кошек?

– Все равно... быть честной, верно, очень приятно... – проговорила со вздохом Лилия-Мария.

<sup>34</sup> Наемный кабриолет на четырех колесах.

<sup>35</sup> Конец.

<sup>36</sup> Казнят.

– Честной!.. Взгляните только на эту физиономию!.. – воскликнул разбойник с громким смехом. – Честной!.. А почему бы тебе не получить награду за добродетель, чтобы почтить неизвестных тебе отца с матерью?

С лица Певуньи сошло за последние минуты характерное для нее беззаботное выражение.

– Ты знаешь, Поножовщик, что я не плакса, – сказала она, – отец мой или мать бросили меня у придорожной тумбы, как надоевшую собачонку! Я не в обиде на них, может, они и сами не могли прокормиться! Но, видишь ли, бывает доля счастливее моей.

– Счастливее твоей? Что тебе еще надобно? Ты хороша, как картинка; тебе нет семнадцати лет; ты поешь, как соловей; ты кажешься девочкой, тебя прозвали Лилией-Марией, и ты еще жалуешься! Посмотрим, что ты скажешь, когда в ходунах<sup>37</sup> и у тебя будет грелка и на голове парик под шиншиллу, как у нашей Людоедки.

– О, я никогда не доживу до ее лет.

– Быть может, у тебя есть патент на то, как не стать гирухой?<sup>38</sup>

– Нет, но я долго не протяну! У меня такой нехороший кашель.

– Вот оно что! Я так и вижу тебя на кречеле<sup>39</sup>. Ну и глупая же ты... прости господи.

– И часто в голову тебе приходят такие мысли, Певунья? – спросил Родольф.

– Иногда... Вы-то, господин Родольф, наверное, поймете меня. По утрам, когда за монетку, данную мне Людоедкой, я покупаю себе немного молока у молочницы, которая останавливается на углу Старосуконной улицы, и вижу, как она возвращается домой на своей тележке, запряженной ослом, я часто завидую ей... Я говорю себе: «Она едет в деревню, на вольный воздух, в свою семью... а я поднимаюсь одна-одинешенька на чердак Людоедки, где даже в полдень бывает темно».

– Ну что ж, дочь моя, выкини такую штуку, будь честной, – сказал Поножовщик.

– Честной, бог ты мой! А на какие шиши? Одежда, которую я ношу, принадлежит Людоедке; я должна ей за помещение и за еду... Я не могу уйти отсюда... Она арестует меня как воровку... Я в ее власти... Мне нужно расплатиться с ней.

При этих горестных словах бедная девушка невольно вздрогнула.

– Тогда оставайся такой, какая ты есть, и не сравнивай себя с крестьянкой, – сказал Поножовщик. – Не сходи с ума! Подумай только, что ты блистаешь в столице, тогда как молочница возвращается домой, чтобы варить кашу своим соплякам, доить коров, идти за травой для кроликов и получать взбучку от мужа, когда тот возвращается из трактира. Вот уж действительно завидная судьба!

– Налей мне, Поножовщик, – сказала Лилия-Мария после длительного молчания и протянула ему стакан. – Нет, не вина, водки... Водка крепче, – проговорила она своим нежным голосом, отстраняя жбан с вином, который взял было Поножовщик.

– Водки! Наконец-то! Вот такой я люблю тебя, дочка, ты не робкого десятка! – сказал он, не поняв состояния девушки и не заметив слезы, повисшей на ее ресницах.

– Как жаль, что водка такая противная... Она здорово одурманивает... – проговорила Лилия-Мария, поставив на стол стакан, который она выпила с брезгливым отвращением.

Родольф выслушал с огромным интересом этот наивный и печальный рассказ. Не дурные наклонности, а нищета и обездоленность привели к гибели эту несчастную девушку.

---

<sup>37</sup> Ногах.

<sup>38</sup> Старухой.

<sup>39</sup> Похоронных дрогах.

## Глава IV

### История поножовщика

Читатель, верно, не забыл, что за двумя собутыльниками внимательно следил некто третий, недавно пришедший в кабак.

Как мы уже говорили, один из этих мужчин был в греческом колпаке, прятал свою левую руку и настойчиво расспрашивал Людоедку, не видела ли она в тот день Грамотея.

Во время рассказа Певуньи, которого они не могли слышать, оба дружка несколько раз перешептывались, с тревогой посматривая на дверь.

Человек в греческом колпаке сказал своему приятелю:

– Что-то Грамотей никак не прихрюет<sup>40</sup>; как бы андрус<sup>41</sup> не пришел его, чтобы отколоть побольше<sup>42</sup>.

– Тогда наше дело дрянь, ведь это мы вскормили дите<sup>43</sup>, – отозвался второй.

Новоприбывший, который наблюдал за этими двумя типами, сидел слишком далеко и не мог слышать их разговор; сверившись несколько раз с какой-то запиской, лежащей на дне его фуражки, он, видимо, остался доволен своими наблюдениями; встав из-за стола, он обратился к Людоедке, которая дремала за стойкой, положив ноги на грелку, а толстого черного кота – к себе на колени.

– Вот что, мамаша Наседка, – сказал он, – я мигом вернусь, последи за моим жбаном и тарелкой... Надо остерегаться любителей полакомиться на чужой счет.

– Будь спокоен, парень, – ответила хозяйка, – если твоя тарелка и твой жбан пусты, никто на них не позарится.

Новоприбывший от души посмеялся этой шутке и вышел, никем не замеченный.

Когда этот человек открыл дверь, Родольф увидел на улице угольщика огромного роста с перепачканным лицом и нетерпеливо махнул рукой, недовольный его навязчивой заботливостью. Но угольщик не принял во внимание досаду Родольфа и не отошел от кабака.

Несмотря на выпитый ею стакан водки, Певунья не развеселилась; напротив, лицо ее становилось все печальнее; она сидела, прислонившись спиной к стене, опустил голову на грудь, а ее большие голубые глаза машинально блуждали по сторонам; казалось, несчастную девушку обувают самые мрачные мысли.

Встретившись раза два-три с пристальным взглядом Родольфа, Певунья отводила глаза; она не понимала того странного впечатления, которое он производил на нее. Его присутствие стесняло, тяготило ее, и она упрекала себя в том, что не проявляет как должно своей благодарности к человеку, вырвавшему ее из рук Поножовщика; она готова была пожалеть, что так искренне рассказала о своей жизни в его присутствии.

Поножовщик, напротив, был в превеселом настроении; он один справлялся с заказанным блюдом, а вино и водка сделали его особенно общительным; чувство стыда, вызванное тем, что он нашел на себя управу, прошло благодаря щедрости Родольфа; к тому же он признавал за своим противником такое огромное превосходство, что испытанное унижение уступило место смешанному чувству восхищения, страха и уважения.

Отсутствие злопамятства, суровая откровенность, с которой он признался в убийстве человека и в справедливости понесенного наказания, самолюбивая гордость, с которой он похвалялся, что никогда не крал, доказывали, по крайней мере, что, несмотря на свои преступле-

---

<sup>40</sup> Не придет.

<sup>41</sup> Дружок.

<sup>42</sup> Не прикончил его, чтобы отхватить себе побольше.

<sup>43</sup> Обмозговали и подготовили дело.

ния, Поножовщик не совсем очерствел душой. Эти черты характера не ускользнули от пронизательного взгляда Родольфа, который с любопытством ожидал рассказа Поножовщика.

Человеческое честолюбие так ненасытно, так причудливо в своих разнообразных проявлениях, что Родольф желал встречи с Грамотеем, с этим страшным преступником и силачом, которого он мысленно сверг с пьедестала. И чтобы унять нетерпение, он попросил Поножовщика продолжить рассказ о своих приключениях.

– Ну же... приятель, – сказал он, – мы слушаем тебя.

Поножовщик осушил стакан и начал свою повесть в таких выражениях:

– Ты, бедная Певунья, была все же подобрана Сычихой, провались она в тартарары! У тебя было пристанище еще до того, как тебя отправили в тюрьму за бродяжничество... А я не припомню, чтобы мне доводилось спать в кровати до девятнадцати лет... Счастливый возраст, когда я стал солдатом.

– Ты был на военной службе, Поножовщик? – спросил Родольф.

– Целых три года, но не забегайте вперед – всему свое время. Каменные плиты Лувра, гипсовые печи в Клиши и каменоломни в Монруже – таковы были те гостиницы, в которых я ночевал с юных лет. Как видите, у меня был дом в Париже и даже в деревне – ни больше ни меньше.

– И никакого ремесла?

– Сам не знаю, хозяин... припоминаю, как в тумане, что в детстве я свигался<sup>44</sup> со стариком-тряпичником, который бил меня своим крюком. Должно быть, так оно и было, потому что позже я видеть не мог этих купидонов с их ивовыми колчанами: меня так и подмывало наброситься на них: явное доказательство, что они колошматили меня в детстве. Мое первое ремесло? Я работал подручным на живодерне в Монфоконе... Мне было лет десять-двенадцать, когда я впервые с отвращением перерезал горло несчастной старой кляче, но через месяц я и думать перестал о лошадях – какое там! Даже вошел во вкус этого дела. Ни у кого не было таких острых ножей, как у меня. Так и хотелось пустить их в ход!.. Когда я расправлялся с положенным количеством лошадей, мне бросали в награду кусок огузка клячи, сдохшей от болезни: туши здоровых лошадей продавались рестораторам, обосновавшимся вблизи от Медицинской школы, и те превращали их в говядину, в баранину, телятину, дичь, чтобы потрафить вкусам посетителей... А когда я завладевал принадлежащим мне куском мяса, мне сам черт был не брат! Я бежал со своей добычей в печь для обжига гипса, как волк – в свое логово, и там с разрешения рабочих приготавливал такое жаркое, что пальчики оближешь! Если печи были загашены, я шел в Роменвиль, собирал там хворост, складывал его в углу бойни, высекал искру с помощью огнива и жарил мясо целиком... Признаться, оно бывало почти сырое, зато таким манером я не всегда ел одно и то же.

– Но как же тебя звали? – спросил Родольф.

– Волосы у меня были еще светлее, чем теперь, кудель куделью, а кровь часто прилиwała к глазам, за что меня и прозвали Альбиносом. Альбинос – это белые кролики с красными глазами, – серьезно добавил Поножовщик в виде научного пояснения.

– А твои родители? Твоя семья?

– Мои родители? Они жили в доме под тем же номером, что и родители Певуньи. Где я родился? На первом попавшемся углу любой улицы, справа или слева от какой-нибудь тумбы, на берегу безымянного ручья.

– Ты проклинал своего отца и свою мать за то, что они тебя бросили?

– Проклинать их? Какой в этом прок?.. Но все же... по правде сказать... они сыграли со мной злую шутку, я не жаловался бы, если бы они поступили со мной так, как следовало бы

---

<sup>44</sup> Бродяжничал.

поступать с нищими всемогущему<sup>45</sup>, то есть избавлять их от холода, голода и жажды; ему это ничего не стоило бы, а нищим было бы легче не воровать.

– Ты страдал от голода, холода и все же не стал вором, Поножовщик?

– Нет, а между тем я здорово бедовал, поверьте... Иногда шавал<sup>46</sup> по двое суток кряду, и не раз, не два, а гораздо чаще... И все же я не крал.

– Потому что боялся тюрьмы?

– Ну и шутник! – воскликнул Поножовщик, пожимая плечами, и громко расхохотался. – Выходит, я не крал хлеба из страха получить хлеб?.. Я оставался честным и подыхал с голоду, а если бы я крал, то меня кормили бы в тюрьме... и даже сытно кормили!.. Но нет, я не крал потому... потому... словом, потому что красть не в моих понятиях!

Этот поистине прекрасный ответ, суть которого сам Поножовщик вряд ли понимал, глубоко удивил Родольфа.

Он почувствовал, что бедняк, остающийся честным среди жесточайших лишений, вдвойне достоин уважения, ибо наказание за кражу может стать для него источником сытой жизни.

Родольф протянул руку этому несчастному дикарю от цивилизации, еще не вполне развращенному нищетой.

Поножовщик взглянул на своего амфитриона удивленно, чуть ли не с уважением и едва осмелился дотронуться до протянутой ему руки. Он смутно ощущал, что между ним и Родольфом лежит глубокая пропасть.

– Молодец! – сказал ему Родольф. – Ты сохранил мужество и честь...

– Ей-богу, не знаю, – проговорил Поножовщик взволнованно, – но то, что вы говорите... видите ли... никогда я еще не чувствовал ничего похожего... одно могу сказать... и эти слова... и ваши удары в конце моей взбучки... мастерские удары... а вы, вместо того чтобы избить меня до полусмерти, платите за мой обед и говорите мне такие вещи. Но довольно об этом. Скажу одно: всегда, когда ни потребуется, вы можете рассчитывать на Поножовщика.

Не желая показать, что он тоже взволнован, Родольф спросил более сдержанно:

– И долго ты пробыл на бойне?

– Еще бы... Сначала мне было тошно перерезать горло этим несчастным старым клячам, которые не могли даже хорошенько лягнуть меня; но, когда мне шел шестнадцатый год и голос мой начал ломаться, орудовать ножом стало для меня отрадой, потребностью, страстью, безумием! Я терял сон и аппетит... Я думал только об этом!.. Надо было видеть меня за работой; кроме старых холщовых штанов, на мне ничего не было. Я стоял со своим большим, хорошо наточенным ножом, а вокруг меня ожидали очереди пятнадцать-двадцать лошадей. Я не хвастаю. Дьявольщина! Не знаю, что на меня накатывало, когда я принимался за дело... какое-то безумие; в ушах у меня шумело, я приходил в ярость, в неистовство, глаза мои наливались кровью... и я резал, резал... резал их до тех пор, пока нож не выпадал у меня из рук! Дьявольщина! Какое наслаждение! Будь я миллионером, я платил бы деньги, чтобы заниматься этим делом.

– Вот откуда у тебя привычка баловаться ножом, – заметил Родольф.

– Да, наверное... Но когда мне исполнилось шестнадцать лет, эта ярость дошла до того, что, взявшись за нож, я терял голову и портил работу... Да, я кромсал лошадиные шкуры, нанося удары вкривь и вкось. В конце концов меня выгнали с бойни. Я хотел пойти в мясники: мне всегда нравилась эта работа. Не тут-то было! Они заважничали! Запрезирали меня! Так сапожник, мастер своего дела, презирает холодного сапожника. Видя такое дело – к тому же после шестнадцати лет моя страсть поиграть ножом прошла, – я стал искать любой работы...

---

<sup>45</sup> Бог. Как ни странно, но имя Божье встречается даже в этом исковерканном языке.

<sup>46</sup> Не ел.

и не сразу ее нашел; в то время я часто голодал. Наконец я нанялся в каменоломни Монружа. Но через два года мне обрыдла эта работа – бегаешь с утра до ночи, как белка в колесе, из-за этого треклятого камня, а получаешь какие-то жалкие двадцать су в день. Я был высокий и здоровенный и решил поступить в солдаты. Меня спрашивают о моем имени, возрасте, просят предъявить бумаги. Имя? Альбинос. Возраст? Взгляните на мою бороду. Бумаги? Вот свидетельство из каменоломни в Монруже, за подписью моего начальника. Из меня мог выйти неплохой гренадер; я был завербован.

– С твоей силищей, с твоим мужеством и любовью действовать ножом ты стал бы, пожалуй, офицером, случись в это время война.

– Дьявольщина! Я и сам это понимаю! Убивать англичан или пруссаков было бы куда почетнее, чем резать старых кляч... Но, на мое несчастье, войны не было, зато была дисциплина... Если подмастерье выплет своему хозяину, дело это плевое, в этом нет ничего такого: если он слабее противника, то сам получит вздрючку, если же сильнее, то получит ее хозяин. А его самого выставят за дверь, иногда посадят в тюрьму – и весь сказ. На военной службе – дело другое. Однажды сержант дал мне пинка, чтобы я скорее поворачивался; он был прав, ибо я гонял лодыря; я упрямлюсь, он толкает меня, я толкаю его; он берет меня за шиворот, я ударяю его кулаком. Тут солдаты наваливаются на меня. Я выхожу из себя, глаза наливаются кровью. Я сатанею... в руках у меня нож... – я как раз дежурил на кухне – и пошло, и пошло! Я принимаюсь орудовать ножом, как на бойне... Пришиваю<sup>47</sup> сержанта, раню двух солдат!.. Настоящее побоище!.. Я нанес одиннадцать ножевых ран им троим... подумать только... одиннадцать!.. Кровищи всюду было... кровищи, как на бойне!.. Я и сам был весь в крови.

С мрачным, диким выражением лица злодей потупился и умолк.

– О чем ты думаешь, Поножовщик? – спросил Родольф, с интересом наблюдавший за ним.

– Ни о чем, – резко ответил тот и продолжал со свойственным ему залихватским видом: – Наконец меня берут под стражу. Тащат на правилку и решают чикнуть<sup>48</sup>.

– Тебе удалось бежать?

– Нет, меня не чикнули, но я пробыл пятнадцать лет на кобылке. Позабыл вам сказать, что, когда я был в полку, мне случилось вытащить из воды двух товарищей, которые чуть не утонули в Сене: мы стояли тогда гарнизоном в Мелене. В другой раз... но вы будете смеяться надо мной, скажете, пожалуй, что я чудодей, который не боится ни воды, ни огня, спасатель мужчин и женщин! Итак, в другой раз наш полк стоял в Руане. Все дома там деревянные, как загородные дачки; пожар начался в одном из кварталов, и скоро огонь уже полыхал всюду; я был как раз дежурным по пожарной части. Приезжаем на место. Мне говорят, что какая-то старуха не может выбраться из своей спальни, к которой подбирается огонь: бегу туда. Дьявольщина! Да, там было жарковато... недаром мне вспомнились печи для обжига гипса в моей молодости. Все же я спас старуху, поджарив себе ступни ног. Словом, благодаря этим подвигам мой лекарь<sup>49</sup> так изворачивался, так молол языком, что мой приговор смягчили: вместо того чтобы отправиться под нож дяди Шарло<sup>50</sup>, я пробыл пятнадцать лет на кобылке... Когда я узнал, что не буду гильотинирован, я хотел задушить болтуна-адвоката. Понимаете, хозяин?

---

<sup>47</sup> Убиваю.

<sup>48</sup> Тащат в суд и приговаривают к смертной казни.

<sup>49</sup> Адвокат.

<sup>50</sup> Палача.



*Поножовщик*

– Ты жалел, что твой приговор смягчили?

– Да... Тем, кто орудует ножом, нож дяди Шарло – справедливое наказание; тем, кто ворует, – кандалы на лапы! Каждому свое... Но нельзя заставлять тебя жить после того, как ты убил человека... Дворники не понимают, что делается с тобой, особенно в первое время.

– Значит, у тебя были угрызения совести?

– Угрызения совести? Нет, конечно, ведь я отбыл свой срок, – ответил варвар Поножовщик, – но вначале не проходило ночи, чтобы я не видел в кошмаре солдат и сержанта, которого зарезал, то есть... они были не одни, – прибавил преступник с ужасом, – десятки, сотни, тысячи других ждали своей очереди на огромной бойне... ждали, как лошади, которым я перерезал глотку в Монфоконе... Тут кровь бросалась мне в голову, и я брался за нож, как прежде, на бойне. Но чем больше я убивал людей, тем больше их становилось... И, умирая, они смотрели

на меня так смиренно... что я проклинал себя за то, что убиваю их... но не мог остановиться... Это еще не все... У меня никогда не было брата... а выходило, что люди, чью кровь я проливал, – мои братья и что я их люблю... Под конец, когда сил у меня уже не было, я просыпался весь в поту, холодном, как талый снег.

– Дурной это сон, Поножовщик!

– Да, хуже некуда! Так вот, вначале на каторге я каждую ночь видел... этот сон. Поверьте, от такого кошмара можно сойти с ума или взбеситься. Недаром я дважды пытался покончить с собой, в первый раз проглотил ярь-медянки, а во второй попробовал задушить себя цепью, но, черт возьми, я силен как бык. От ярь-медянки мне захотелось пить, а от цепи, которой я стянул себе горло, остался на всю жизнь синий галстук. Потом кошмары стали реже, привычка жить взяла свое, и я стал таким же, как остальные.

– На каторге ты вполне мог научиться воровать.

– Да, но вкуса к воровству у меня не было... Те, что были на кобылке, поднимали меня на смех из-за этого, а я избивал их своей цепью. Вот так я и познакомился с Грамотеем. Что до него... ну и хватка! Он вздул меня не хуже, чем вы сегодня.

– Так он тоже освобожденный каторжник?

– Нет, ему навечно дали кобылу, но он сам себя освободил.

– Бежал с каторги? И никто его не выдал?

– Во всяком случае, я никогда не выдал бы Грамотея: вышло бы так, что я боюсь его.

– Но как же полиция не нашла его? Разве его приметы не были известны?

– Приметы?.. Как бы не так! Он давным-давно уничтожил личико, которым наделил его всемогутный. Теперь один лишь *пекарь*<sup>51</sup>, что грешников припекает в аду, мог бы узнать Грамотея.

– Как же ему это удалось?

– Он начал с того, что подрезал себе нос, который был у него длиною в локоть, а затем умылся серной кислотой.

– Шутишь!

– Если он придет сюда сегодня вечером, вы сами в этом убедитесь, нос у Грамотея был как у попугая, а стал как у курносой<sup>52</sup>, не считая того, что губы у него величиною с кулак, а на лице столько шрамов, сколько заплат на куртке старьевщика.

– Значит, он стал неузнаваемым?

– За те полгода, что он бежал из Рошфора, легавые<sup>53</sup> много раз видели его, но так и не узнали.

– За что его отправили на каторгу?

– Он был фальшивомонетчиком, вором и убийцей. Его прозвали Грамотеем, потому что у него красивый почерк и человек он очень умный.

– Его здесь боятся?

– Перестанут бояться, когда вы отколошматите его, как отколошматили меня. Дьявольщина! Любопытно было бы посмотреть на это.

– На что же он живет?

– Говорят, будто он хвастал, что убил и ограбил три недели назад торговца скотом на дороге в Пуасси.

– Рано или поздно его арестуют.

– Для того чтобы арестовать этого лиходея, требуется не меньше двух человек: у него всегда имеется под блузой два заряженных пистолета и кинжал; он говорит, что дядя Шарло

---

<sup>51</sup> Дьявол.

<sup>52</sup> Смерти.

<sup>53</sup> Полицейские (сыщики).

ждет его, но умирают лишь один раз и, прежде чем сдаться, он перебьет всех, кто помешает ему удрать... Да, он говорит это напрямки, а так как он вдвое сильнее нас с вами, пришить его будет нелегко.

– А что ты делал после каторги?

– Я нанялся к подрядчику по выгрузке сплавного леса, работаю на набережной Святого Павла, этим и кормлюсь.

– Но если ты не скокарь, зачем тебе жить в Сите?

– А где, по-вашему, мне жить? Кто захочет знаться с бывшим каторжником? И, кроме того, мне скучно в одиночестве, я люблю общество и живу здесь среди себе подобных. Иной раз поколочу кого-нибудь... Меня тут боятся как огня, но ключай<sup>54</sup> не может ко мне придаться; правда, иной раз за потасовку я и отсижу сутки в тюрьме.

– Сколько же ты зарабатываешь в день?

– Тридцать пять су. И так я буду жить до тех пор, пока у меня есть силы; а потом я возьму крюк да ивовый колчан, как тот старик-тряпичник, которого я вижу в тумане моего детства.

– И все же ты не слишком несчастлив?

– Бывают люди понесчастнее меня, ясное дело. Если бы не кошмары о сержанте и солдатах, а мне они еще часто снятся, я спокойно дожидался бы минуты, когда околею, как и родился, возле какой-нибудь тумбы или в больнице... но этот кошмар... Черт бы его подрал... не люблю вспоминать о нем, – сказал Поножовщик.

И он выбил свою трубку о край стола.

Певунья рассеянно выслушала рассказ Поножовщика; по-видимому, она была погружена в какие-то печальные размышления.

Родольф и тот был задумчив.

Услышанные им рассказы пробудили в нем новые мысли.

Некое трагическое происшествие напомнило всем троим, в каком месте они находятся.

---

<sup>54</sup> Полицейский комиссар.

## Глава V

### Арест

Посетитель, который недавно вышел, поручив Людоедке свою тарелку и жбан с вином, вскоре вернулся в сопровождении широкоплечего энергичного вида мужчины.

– Вот так неожиданная встреча, Борель! – сказал он ему.

– Входи же, давай выпьем с тобой по стакану вина.

Указав на новоприбывшего, Поножовщик шепотом сказал Родольфу и Певунье:

– Ну, теперь жди передраги... Это сыщик. Внимание!

Оба злодея – один из них сидел, надвинув до самых бровей греческий колпак, и не раз справлялся о Грамотее – обменялись быстрым взглядом, встали одновременно из-за стола и направились к двери, но двое полицейских бросились на них, издав условный крик.

Началась ожесточенная борьба.

Дверь таверны распахнулась, и другие агенты вбежали в залу, а на улице блеснули ружья.

Во время этой свалки угольщик, о котором мы уже упоминали, подошел к порогу кабака и, как бы случайно встретившись взглядом с Родольфом, приложил указательный палец к губам.

Быстрым повелительным взмахом руки Родольф приказал ему уйти, а сам продолжал наблюдать за тем, что творилось в кабаке.

Мужчина в греческом колпаке орал словно одержимый. Полулежа на столе, он так отчаянно отбивался, что трое полицейских с трудом удерживали его. Подавленный, мрачный, с бескровным лицом и побелевшими губами, с отвислой дрожащей челюстью, его сообщник не оказал ни малейшего сопротивления и сам протянул руки, чтобы на них надели наручники.

Людоедка, привыкшая к таким сценам, безучастно сидела за стойкой, положив руки в карманы фартука.

– Что такое натворили эти двое, господин Нарсис Борель? – спросила она у знакомого ей агента.

– Убили вчера старуху с улицы Святого Христофора, чтобы обчистить ее комнату. Перед смертью несчастная женщина сказала, что укусила за руку одного из преступников. Мы следили за этими негодяями; мой приятель только что приходил сюда, чтобы опознать их; теперь голубчики попались.

– К счастью, они заранее уплатили мне за выпивку, – заметила Людоедка. – Не желаете ли вы выпить чего-нибудь, господин Нарсис? Ну хотя бы стаканчик «Идеальной любви» или «Утешения»?

– Нет, спасибо, мамаша Наседка, я должен доставить куда следует этих негодяев. Один из них никак не утихомирится.

В самом деле, убийца в греческом колпаке яростно сопротивлялся. Когда его подвели к извозчику, ожидавшему на улице, он стал так отбиваться, что пришлось тащить его на руках.

Охваченный нервной дрожью, сообщник убийцы едва держался на ногах, его лиловые губы шевелились, будто он что-то говорил... Его бросили в извозничью пролетку как мертвое тело.

– Вот что я вам скажу, мамаша Наседка, – заметил агент, – остерегайтесь Краснорукого: хитер, подлец! Он может втянуть вас в какое-нибудь грязное дело.

– Краснорукого? Я давным-давно не видела его в нашем квартале, господин Борель.

– С ним вечно так: если он где-нибудь находится... там-то его и не видно. Вы сами прекрасно знаете это... Не принимайте от него на хранение или в заклад ни вещей, ни денег: это будет рассматриваться как укрывательство краденного.

– Будьте спокойны, господин Борель: я боюсь Краснорукого больше, чем дьявола. Никогда не знаешь, куда он отправляется и откуда прибыл. В последний раз, когда я его видела, он сказал, что приехал из Германии.

– Во всяком случае, я вас предупредил... будьте осторожны.

Прежде чем уйти из кабака, полицейский агент внимательно осмотрел посетителей и сказал чуть ли не ласково Поножовщику:

– А, вот и ты, шалопад! Что-то давненько не слышать о тебе, о твоих потасовках! Видно, взялся за ум?

– Да, стал умником-разумником, господин Борель; вы же знаете, что я разбиваю носы лишь тем, кто меня об этом попросит.

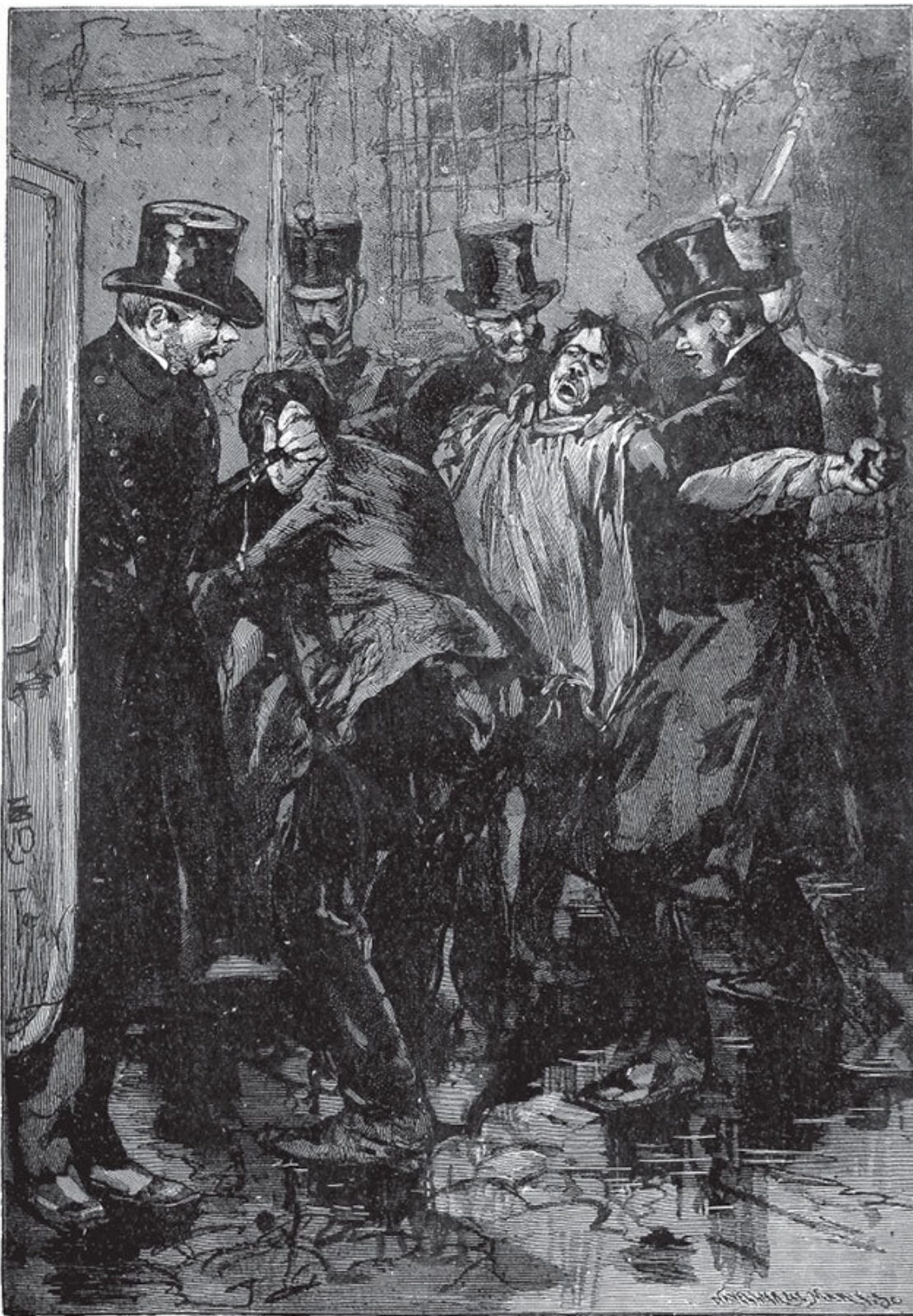
– Недостает еще, чтобы такой силач, как ты, первый ввязывался в драку!

– И однако, вот кто меня одолел, – проговорил Поножовщик, кладя руку на плечо Родольфа.

– Вот те на! Этого человека я что-то не знаю, – заметил агент, разглядывая Родольфа.

– Сомневаюсь, чтобы нам довелось познакомиться, – ответил тот.

– Желаю этого ради вашего блага, приятель, – сказал агент и, обратившись к Людоедке, продолжал: – До свидания, мамаша Наседка! Ваша таверна – настоящая мышеловка: сегодня я задержал здесь третьего убийцу.



*Мужчина в греческом колтаке орал словно одержимый. Полулежа на столе, он так отчаянно отбивался, что трое полицейских с трудом удерживали его.*

– И надеюсь, не последнего, господин Борель; я всегда рада услужить вам, – любезно ответила Людоедка, отвешивая почтительный поклон.

После ухода полицейского агента молодой человек с серым испитым лицом, который курил, попивая водку, снова набил свою трубку и сказал сиплым голосом Поножовщику:

– Разве ты не узнал мужчину в греческом колпаке? Это же Волосатый – любовник Толстушки. Увидев полицейских, я подумал: «Недаром он все время прятал свою левую руку».

– Как удачно, что Грамотей не пришел сегодня, – продолжала Людоедка. – Греческий колпак несколько раз справлялся о нем из-за дел, которые они затеяли вместе... но я никогда не стану капать на своих клиентов. Пусть их забирают, ладно... у каждого свое ремесло... но я не продаю их. Смотрите: про волка речь, а волк навстречь, – заметила Людоедка при виде мужчины и женщины, входящих в кабак. – Вот и сам Грамотей со своей барулей.

При входе Грамотея нечто вроде лихорадочного трепета охватило зал.

Несмотря на присущую ему смелость, даже Родольф не мог побороть волнения при виде столь опасного преступника, на которого он взглянул с любопытством, смешанным с ужасом.

Поножовщик сказал правду. Грамотей чудовищно себя изуродовал. Трудно было представить себе что-нибудь более жуткое, чем лицо этого злодея, сплошь покрытое глубокими синевато-белыми шрамами; его губы вздулись под действием серной кислоты; часть носа была отрезана, и две уродливые дыры заменяли ноздри. Его серые, светлые, маленькие и круглые глазки хищно блестели, лоб, сплюснутый, как у тигра, был наполовину скрыт под шапкой из рыжего длинношерстного меха... Так и казалось, что это грива чудовища.

Росту он был не более пяти футов и двух-трех дюймов; его несоразмерно большая голова уходила в широкие, приподнятые, мясистые плечи, мощь которых чувствовалась даже под свободными складками блузы из сурового полотна; руки были длинные, мускулистые, пальцы короткие, толстые, сплошь покрытые волосами; его кривоватые ноги с огромными икрами свидетельствовали об атлетической силе.

Словом, этот человек напоминал в карикатурном виде Геркулеса Фарнезского, короткого, приземистого, плотного.



*На пожилой, довольно опрятной женщине, сопровождавшей Грамотея, было коричневое платье, черная шаль в красную клетку и белый чепец.*

Что же касается выражения жестокости этой отвратительной морды, ее взгляда, беспокойного, изменчивого, горящего, как у дикого зверя, у нас не хватает слов, чтобы описать их.

На пожилой, довольно опрятной женщине, сопровождавшей Грамотея, было коричневое платье, черная шаль в красную клетку и белый чепец.

Родольф увидел эту женщину в профиль; ее крючковатый нос, ее зеленый круглый глаз, тонкие губы, выступающий вперед подбородок, злое и хитрое выражение лица невольно напомнили ему Сычиху, зловещую старуху, некогда истязавшую Лилию-Марию.

Он хотел было поделиться своим впечатлением с Певуньей, когда на его глазах она побледнела, вперив полный немого ужаса взгляд в мерзкую подругу Грамотея, и, схватив руку Родольфа дрожащими пальчиками, тихо сказала:

– Сычиха... Боже мой... Сычиха... Одноглазая старуха!

В эту минуту Грамотей, неслышно обменявшись несколькими словами с одним из завсегдатаев кабака, медленно приблизился к столу, за которым сидели Родольф, Певунья и Поножовщик. Затем, обратившись к Лилии-Марии, разбойник проговорил голосом, напоминающим рычание тигра:

– Вот что, хорошенькая беляночка, ты оставишь этих двух недотеп и пойдешь со мной...

Певунья ничего не ответила, только прижалась к Родольфу. Она была так напугана, что зубы у нее стучали.

– А я... не стану ревновать моего муженька, – проговорила Сычиха с громким смехом.

Она все еще не узнавала Воровку, свою прежнюю жертву.

– Слышишь ты меня или нет, беляночка? – спросил урод, подходя еще ближе к столу. – Если ты не пойдешь со мной, я выколю тебе один глаз, чтобы ты была под стать Сычихе. А если ты, красавчик с усиками, – обратился он к Родольфу, – не перебросишь мне эту блондинку через стол... я прикончу тебя...

– Боже мой, боже мой! – воскликнула Певунья и, сложив с мольбой руки, обратилась к Родольфу: – Защитите меня!

Но, сообразив, что она подвергает его большой опасности, девушка продолжала шепотом:

– Нет, нет, не двигайтесь, господин Родольф; если он подойдет, я позову на помощь, он побоится скандала, появления полиции, Людоедка тоже вступится за меня.

– Не беспокойся, детка, – сказал Родольф, бесстрашно смотря на Грамотея. – Я рядом с тобой, сиди спокойно. Но так как нам с тобой претит вид этого уroda, я мигом вышвырну его на улицу.

– Ты? – спросил Грамотей.

– Да, я!!! – ответил Родольф.

И, невзирая на попытки Певуны удержать его, он встал из-за стола.

Грамотей отступил на шаг, таким грозным было лицо Родольфа.

Лилия-Мария и Поножовщик были поражены злобой, лютым гневом, которые исказили в эту минуту лицо их спутника; его трудно было узнать. Во время своей драки с Поножовщиком он держался презрительно, насмешливо; но перед лицом Грамотея он, казалось, был охвачен дикой ненавистью: его расширенные от ярости зрачки как-то странно блестели.

Иные глаза обладают непреодолимой магнетической силой; говорят, что наиболее знаменитые дуэлянты одерживали свои кровавые победы благодаря гипнотической силе взгляда, который подавлял, парализовал их противников.

Родольф был наделен именно таким поразительным взглядом, пристальным, сверлящим, пугающим, которого не могут избежать те, на кого он направлен... Этот взгляд смущает их, властвует над ними; они почти физически ощущают его, но у них недостает сил от него оторваться.

Грамотей вздохнул, отступил на шаг и, уже не доверяя своей необычайной силе, стал нащупывать под блузой рукоятку кинжала.

На пол кабака могла пролиться кровь, если бы Сычиха, схватив за руку Грамотея, не вскричала:

– погоди... погоди... чертушка. Выслушай меня; ты потом расправишься с этими двумя обормочками, они не уйдут от тебя...

Грамотей с удивлением взглянул на одноглазую.

А та уже несколько минут с возрастающим интересом наблюдала за Лилией-Марией, припоминая прошлое. Наконец все ее сомнения рассеялись: она узнала Певунью.

– Статочное ли дело! – воскликнула Сычиха, всплеснув руками. – Да ведь это Воровка, любительница полакомиться на чужой счет. Откуда ты взялась? Уж не *пекарь* ли послал тебя сюда? – прибавила она, показывая кулак девушке. – Неужто ты вечно будешь попадать ко мне в лапы? Будь спокойна, я не стану больше вырывать у тебя зубы, зато я заставлю тебя выплакать все глаза. Ах, как ты будешь рвать и метать. Так, значит, тебе ничего не известно? Я знаю, кто твои родители... Грамотей встретился на каторге с человеком, который привез тебя ко мне, когда ты была еще крошкой. Тот открыл ему имя твоей матери... твои родители – грачи<sup>55</sup>.

– Вы знаете моих родителей? – воскликнула Лилия-Мария.

– Моему муженьку известна фамилия твоей матери... но я не допущу, чтобы он открыл ее тебе, скорее вырву у него язык... Не далее как вчера он виделся с человеком, который когда-то привез тебя в мою конуру, поговорил с ним о деньгах, которые перестали посылать мне, женщине, так долго кормившей тебя... но твоей матери плевать на тебя, она была бы рада-радешенька, если бы ты околела... И все же, знай ты, кто она, ты могла бы выманивать у нее порядочные деньги, мой маленький подкидыш... У человека, о котором я говорю, имеются бумаги... да, письма твоей матери... Ты плачешь, Воровка... Так нет же, ты ничего не узнаешь о своей матери, ничегошеньки.

– Пусть лучше она думает, что я умерла... – проговорила Лилия-Мария, вытирая слезы.

Позабыв о Грамотее, Родольф внимательно слушал Сычиху, рассказ которой заинтересовал его.

Тем временем разбойник, не ощущая на себе властного взгляда Родольфа, приободрился; он не мог поверить, чтобы этот молодой человек, стройный, среднего роста, мог противостоять ему; уверенный в своей незаурядной силе, он приблизился к защитнику Певуны и властно сказал Сычихе:

– Довольно, прикуси язык... Я хочу испортить вывеску этому грубияну, этому красавчику, чтобы хорошенькая беляночка нашла меня пригожее его.

Родольф мигом перепрыгнул через стол.

– Осторожно, не перебейте моих тарелок! – крикнула Людоедка.

Грамотей встал в оборонительную позицию: руки вытянуты вперед, торс откинут назад, нижняя часть туловища неподвижна, вся тяжесть тела перенесена на одну из огромных ног, подобных каменным тумбам.

В ту минуту, когда Родольф собирался напасть на него, кто-то с силой распахнул дверь кабака, и угольщик, о котором мы уже говорили, детина чуть ли не шести футов ростом, вбежал в залу, резко отстранил Грамотея, подошел к Родольфу и сказал ему на ухо по-английски:

– Сударь, Том и Сара... Они в конце улицы.

При этих таинственных словах Родольф сделал гневный, нетерпеливый жест, бросил луидор на стойку Людоедки и побежал к двери.

Грамотей попытался преградить путь Родольфу, но тот, обернувшись, нанес ему по голове два удара такой силы, что оглушенный злодей зашатался и тяжело рухнул на соседний стол.

– Да здравствует хартия! Узнаю «мои» удары в конце взбучки, – вскричал Поножовщик. – Еще несколько этаких ударов, и я сам буду наносить такие же...

Почти мгновенно придя в себя, Грамотей бросился за Родольфом, но тот исчез вместе с угольщиком в темном лабиринте улочек Сите, и разбойнику не удалось их нагнать.

В ту минуту, когда Грамотей в ярости возвращался обратно, два человека торопливо подошли к кабаку со стороны, противоположной той, где исчез Родольф, и вбежали в него, запыхавшись, точно спешно проделали длинный путь.

Прежде всего они внимательно оглядели залу.

<sup>55</sup> Богатые люди.

– Какое несчастье! – сказал один из них, – он опять ускользнул от нас!

– Терпение!.. В сутках двадцать четыре часа, а перед нами еще долгие годы жизни, – ответил его спутник.

Оба новоприбывших говорили по-английски.

## Глава VI

### Том и Сара

Эти новые посетители принадлежали к классу несравненно более высокому, чем всегда таверны.

У одного из них, высокого, стройного человека, были почти совсем седые волосы, черные брови и бакенбарды, костистое загорелое лицо, вид строгий, суровый. На его круглой шляпе бросалась в глаза траурная лента; черный длинный редингот был застегнут, как у военных, до самого верха, а серые облегающие панталоны заправлены в сапожки, некогда прозванные а la Суворов.

Его спутник, тоже носивший траур, был мал ростом, красив, бледен. Его длинные черные волосы, темные глаза и брови подчеркивали матовую бледность лица; по походке, сложению, изяществу черт лица легко было догадаться, что это женщина, переодетая мужчиной.

– Том, мне хочется пить, вели принести чего-нибудь и расспроси этих людей о нем, – сказала Сара все так же по-английски.

– Хорошо, Сара, – ответил мужчина с седыми волосами и черными бровями.

В то время как Сара вытирала потный лоб, он сел за один из столиков и сказал Людоедке на прекрасном, почти без акцента французском языке:

– Пожалуйста, сударыня, велите подать нам вина.

Появление в кабаке этой пары привлекло всеобщее внимание; их одежда и манеры свидетельствовали о том, что они никогда не посещали подобных низкопробных заведений; а по их беспокойным озабоченным лицам можно было догадаться, что лишь важные причины могли привести их в этот квартал.

Поножовщик, Грамотей и Сычиха рассматривали вошедших с жадным любопытством.

Певунья, испуганная встречей с одноглазой, опасаясь угроз Грамотея, который хотел увести ее с собой, воспользовалась рассеянностью этих двух негодяев и, проскользнув в приоткрытую дверь кабака, вышла на улицу.

Поножовщику и Грамотею было явно не до того, чтобы еще раз помериться силами.

Удивленная появлением столь необычных посетителей, Людоедка разделяла всеобщий интерес. Том нетерпеливо повторил свою просьбу:

– Мы просили принести нам вина, сударыня; будьте так любезны выполнить наш заказ.

Мамаша Наседка, польщенная столь вежливым обращением, вышла из-за стойки и, грациозно облокотясь на столик Тома, спросила:

– Что вы желаете, литр вина или запечатанную бутылку?

– Подайте нам бутылку вина, стаканы и воды.

Людоедка принесла все, что требовалось. Том бросил на стол монету в сто су и, отказавшись от сдачи, сказал:

– Оставьте мелочь себе, хозяйюшка, и разрешите пригласить вас выпить с нами стакан вина.

– Вы очень любезны, сударь, – проговорила мамаша Наседка, смотря на Тома взглядом, в котором было больше удивления, чем признательности.

– Мы назначили свидание в кабачке на этой улице одному нашему приятелю; не знаю, мы, вероятно, ошиблись?

– Вы находитесь в «Белом кролике», где мы всегда рады вам услужить.

– Понимаю, – сказал Том, многозначительно взглянув на Сару. – Да, именно здесь он должен был ждать нас.

– Видите ли, на этой улице есть только один «Белый кролик», – с гордостью проговорила Людоедка. – Но каков из себя ваш приятель?

– Высокий, тонкий, волосы и усы светло-каштановые, – сказал Том.

– Погодите, погодите, да это же мой недавний посетитель. Огромного роста угольщик пришел за ним, и они вместе ушли отсюда.

– Как раз их-то мы и разыскиваем, – сказал Том.

– Они были здесь вдвоем? – спросила Сара.

– Нет, угольщик зашел лишь на минутку; а ваш приятель ужинал с Певуньей и Поножовщиком. – И Людоедка указала взглядом на того из сотрапезников Родольфа, который оставался в кабаке.

Том и Сара повернулись лицом к Поножовщику.

Внимательно осмотрев его, Сара спросила по-английски у своего спутника:

– Знаешь этого человека?

– Нет. Что до Родольфа, Чарльз потерял его из виду среди этих темных улочек. Видя, что Мэрф, наряженный угольщиком, расхаживает возле этого кабака и беспрестанно заглядывает в его окна, он кое-что заподозрил и пришел предупредить нас... Но очевидно, Мэрф узнал Чарльза.

Во время этого разговора, который велся тихим голосом, на иностранном языке, Грамотей, глядя на Тома и Сару, обратился к Сычихе:

– Этот долговязый выложил сто су Людоедке. Скоро полночь; на улице дождь, ветер; когда они выйдут, мы последуем за ними; я оглушу долговязого и отберу у него деньги. Он с женщиной и не посмеет кричать.

– А если малышка позовет ночной дозор, у меня в кармане есть пузырек серной кислоты, который я тут же разобью о ее физиономию: детей надо поить, чтобы не орали.

Помолчав, Сычиха продолжала:

– Послушай, чертушка. Стоит нам найти Воровку, и мы возьмем ее нахрапом. Я натру ей морду серной кислотой, после чего она перестанет гордиться своей хорошенькой рожицей.

– Знаешь, Сычиха, я кончу тем, что женюсь на тебе, – сказал Грамотей. – Нет женщины, равной тебе по хитрости и мужеству... В ночь, когда мы имели дело с торговцем скотом, я оценил тебя. Решено и подписано: ты – моя жена, которая будет работать со мной лучше любого мужчины.

Подумав, Сара сказала Тому, указывая на Поножовщика:

– А что, если нам порасспросить этого человека? Быть может, мы узнаем, что привело сюда Родольфа.

– Попробуем, – согласился Том и, обратившись к Поножовщику, сказал: – Мы должны были встретиться в этом кабаке с одним из наших друзей; говорят, он обедал с вами; вы, очевидно, знакомы с ним, приятель, не знаете ли вы, куда он ушел?

– Я знаком с ним только потому, что он отдубасил меня два часа назад, защищая Певунью.

– А до этого вы никогда его не видели?

– Никогда... Мы случайно встретились в проходе дома, где живет Краснорукий.

– Хозяюшка, еще одну бутылку вина, да самого лучшего, – сказал Том.

Они с Сарой едва пригубили вино, зато мамаша Наседка выпила несколько стаканов, видимо, чтобы оказать честь своему винному погребку.

– И подайте, пожалуйста, бутылку на стол этого господина, если он согласится распить ее с нами, – добавил Том.

Тем временем Грамотей с Сычихой продолжали обсуждать шепотом свои зловещие планы.

Как только бутылка была принесена, Сара и Том подсели к Поножовщику, удивленному и польщенному таким вниманием; к ним присоединилась и Людоедка, посчитавшая излишним новое приглашение. Разговор возобновился.

– Вы говорили, любезный, что встретились с Родольфом в доме, где живет Краснорукий? – сказал Том, чокаясь с Поножовщиком.

– А как же, любезный, – ответил тот и мигом опорожнил свой стакан.

– Какое странное прозвище... Краснорукий! Что он представляет собой, этот Краснорукий?

– Он промышляет варой, – небрежно обронил Поножовщик и прибавил: – Ну и знатное у вас винцо, мамаша Наседка!

– Потому-то, приятель, ваш стакан и не должен пустовать, – заметил Том, снова наливая вина Поножовщику.

– За ваше здоровье, – сказал Поножовщик, – и за здоровье вашего дружка, который... Довольно, молчок. Будь моя тетьа мужчиной, она приходилась бы мне дядей, как говорится в пословице. Ну, да чего там... Я-то понимаю, что подразумеваю...

Сара заметно покраснела. Том продолжал:

– Я не совсем понял, что вы сказали о Красноруком. Очевидно, Родольф выходил от него?

– Я вам сказал, что Краснорукий промышляет варой.

Томас с удивлением посмотрел на Поножовщика.

– Что значит – промышляет варой... Как вы сказали?..

– Промышлять варой? Ну, ясное дело, заниматься контрабандой. Значит, вы не знаете музыки<sup>56</sup>.

– Я ничего не понимаю, милейший.

– Я вам сказал: значит, вы не говорите на аргю, как господин Родольф.

– На аргю? – повторил Том, с изумлением смотря на Сару.

– Какие же вы телепни!<sup>57</sup> Зато друг Родольф – замечательный малый, и хоть он мастер по веерам, а даже меня заткнет за пояс своим аргю... Ну ладно, раз вы не знаете этот прекрасный язык, я скажу по-французски, что Краснорукий контрабандист. Я говорю это запросто, не желая ему зла... Он и сам не скрывает этого и даже похваляется своей контрабандой под носом у таможенников; но пусть они только попробуют найти и зацапать его товар... не тут-то было: Краснорукий – хитрюга.

– Но зачем Родольф ходил к этому человеку? – спросила Сара.

– Ей-богу, сударь... или сударыня, как вам будет угодно, я ничего об этом не знаю. Это так же верно, как и то, что я пью с вами это винцо. Сегодня вечером я хотел поколотить Певунью, я был не прав: она хорошая девушка; она бежит от меня в проход дома Краснорукого, я преследую ее... Там было темным-темно, и, вместо того чтобы схватить Певунью, я натыкаюсь на господина Родольфа, который всыпал мне по первое число... О да... Особенно хороши были последние удары... Дьявольщина! Как они были отработаны! Он пообещал показать мне этот прием.

– А что, в сущности, за человек этот Краснорукий? – спросил Том. – Чем он торгует?

– Краснорукий-то? Как вам сказать... Он продает все, что запрещено продавать, и делает все, что запрещено делать. Вот его позиция. Правильно я говорю, мамаша Наседка?

– О да, он малый не промах, – подтвердила Людоедка.

– И ловко же морочит таможенников, – продолжал Поножовщик. – Они раз двадцать делали обыск в его загородной хибаре, но так ничего и не нашли; а между тем он часто выносит оттуда целые тюки.

– У него все шито-крыто, – сказала Людоедка, – говорят, будто у Краснорукого имеется тайник, который сообщается с колодцем и ведет в катакомбы.

---

<sup>56</sup> Вы не знаете жаргона.

<sup>57</sup> Простаки.

– Но тайника этого никто не отыскал. Чтобы вывести Краснорукого на чистую воду, следовало бы разрушить его хибару, – сказал Поножовщик.

– А под каким номером значится дом, где живет в городе Краснорукий?

– Под номером тринадцать, Бобовая улица; Краснорукий – торговец, продает и покупает все, что пожелаете... Это известно во всей округе, – пояснил Поножовщик.

– Я запишу этот адрес в блокноте; если мы не отыщем Родольфа, я попытаюсь справиться о нем у господина Краснорукого, – сказал Том.

И он записал название улицы и номер дома контрабандиста.

– Вы вполне можете гордиться своей дружбой с господином Родольфом: это надежный товарищ и славный малый... Кабы не угольник, он отдубасил бы за милую душу Грамотея, вон того, что сидит там, в углу, с Сычихой... Дьявольщина! Меня так и подмывает стереть в порошок эту старую ведьму, как подумаю, что она проделывала с Певуньей... Но терпение... как говорится, удар кулаком всегда при мне.

– Родольф вас побил. Вы должны его ненавидеть!

– Чтобы я ненавидел такого смелого, щедрого человека! Этого еще не хватало! И впрямь, я и сам не понимаю, почему так получилось... Взять хотя бы Грамотея, он тоже побил меня, и я только бы порадовался, если бы его придушили... Господин Родольф побил меня гораздо крепче... и вот какая штука: я желаю ему добра. Ради него я готов в огонь и воду, а ведь познакомились мы с ним только сегодня вечером.

– Вы сказали это, потому что мы его друзья.

– Нет, дьявольщина, нет, клянусь честью!.. В его пользу говорят те удары, что он нанес мне под конец... А он, прямо как ребенок, даже не гордится ими. Ничего не скажешь, он мастер, законченный мастер... И, кроме того, он говорит тебе такие слова... такие вещи, от которых сердце переворачивается; и наконец, когда он смотрит на тебя... у него что-то такое есть в глазах... Видите ли, я был пехотинцем... С таким начальником мы пошли бы на приступ неба.

Том и Сара молча переглянулись.

– Неужели эта поразительная власть над людьми будет всегда и повсюду сопутствовать ему? – с горечью молвила Сара.

– Да... До тех пор, пока мы не наложим заклятия на его чары, – заметил Том.

– Да, что бы ни случилось, это надо, надо сделать, – проговорила Сара и провела рукою по лбу, словно отгоняя какое-то тягостное воспоминание.

Часы на ратуше пробили полночь.

Кенкет таверны распространял теперь лишь сумеречный свет.

За исключением Поножовщика, двух его сотрапезников, Грамотея и Сычихи, все посетители понемногу разошлись. Грамотей шепотом сказал жене:

– Мы спрячемся с тобой в доме напротив, увидим, когда наши сударики выйдут на улицу, и последуем за ними. Если они повернут влево, мы подождем их в закоулке на улице Святого Элигия, если они повернут вправо, мы подождем их у разрушенного дома, того, что неподалеку от лавчонки, торгующей требухой. Там есть большая яма... Я кое-что придумал.

И Грамотей направился к двери вместе с Сычихой.

– Вы ничего не закажете нынче вечером? – спросила у них Людоедка.

– Нет, мамаша Наседка... Мы зашли только обогреться, – сказал Грамотей и вышел из кабака вместе с Сычихой.

## Глава VII

### Кошелек или жизнь

Шум захлопнувшейся двери вывел Тома и Сару из задумчивости, и они поблагодарили Поножовщика за сообщенные им сведения; последний внушал им меньше доверия с тех пор, как он грубо, но искренне выразил свое восхищение Родольфом.

После ухода Поножовщика ветер еще усилился, а дождь полил как из ведра.

Грамотей и Сычиха, прятаящиеся на противоположной стороне улицы, увидели, что Поножовщик свернул в сторону разрушенного дома. Вскоре его отяжелевшие шаги – следствие частых возлияний этого вечера – заглохли среди завывания ветра и шума дождя, хлеставшего по стенам домов.

Том и Сара покинули кабак, невзирая на погоду, и отправились в сторону, противоположную той, которую избрал Поножовщик.

– Они у нас на крючке<sup>58</sup>, – тихо сказал Грамотей. – Готовь пузырек с серной кислотой: внимание!

– Давай снимем обувь, чтобы они не услышали наших шагов.

– Ты права, ты всегда бываешь права, Хитруша; я никогда бы не подумал об этом; пойдем крадучись, как кошки.

Мерзкая парочка сняла башмаки и стала пробираться в темноте вдоль домов...

Теперь шум их шагов был настолько смягчен, что они могли следовать чуть ли не вплотную за Томом и Сарой.

– К счастью, извозчик ожидает нас на углу улицы, иначе мы промокли бы до костей, – сказал Том. – Тебе не холодно, Сара?

– Быть может, нам удастся выяснить что-нибудь у этого Краснорукого, – задумчиво проговорила Сара, не отвечая на вопрос брата.

Они как раз находились вблизи того места, где Грамотей решил совершить ограбление.

– Я ошибся и пошел не по той улице, – сказал Том, – нам надо было свернуть влево, в сторону разрушенного дома, чтобы выйти к тому месту, где нас ожидает извозчик. Придется вернуться назад.

Грамотею и Сычихе пришлось спрятаться в подъезде какого-то дома, чтобы не быть замеченными Томом и Сарой.

– По мне, пусть лучше отправятся в сторону развалин, – проговорил Грамотей. – Если этот сударик будет фордыбачить... у меня есть одна мыслишка...

Сара с Томом снова миновали кабак и добрались до развалин. Этот разрушенный дом с зияющими отверстиями подвалов являл собой нечто вроде глубокого рва, вдоль которого и шла улица.

Вдруг Грамотей прыгнул с ловкостью и силой тигра, схватил своей широченной рукой Тома за горло и проговорил:

– Выкладывай деньги, не то я сброшу тебя в эту дыру!

И разбойник толкнул Тома, заставив его потерять равновесие: одной рукой он удержал его на краю глубокой ямы, а другой зажал, как в тисках, руку Сары.

Прежде нежели Том успел сделать хоть одно движение, Сычиха обчистила его карманы с поразительной хваткой и проворством.

Сара не вскрикнула, не попыталась вырваться.

---

<sup>58</sup> Они у нас в руках.

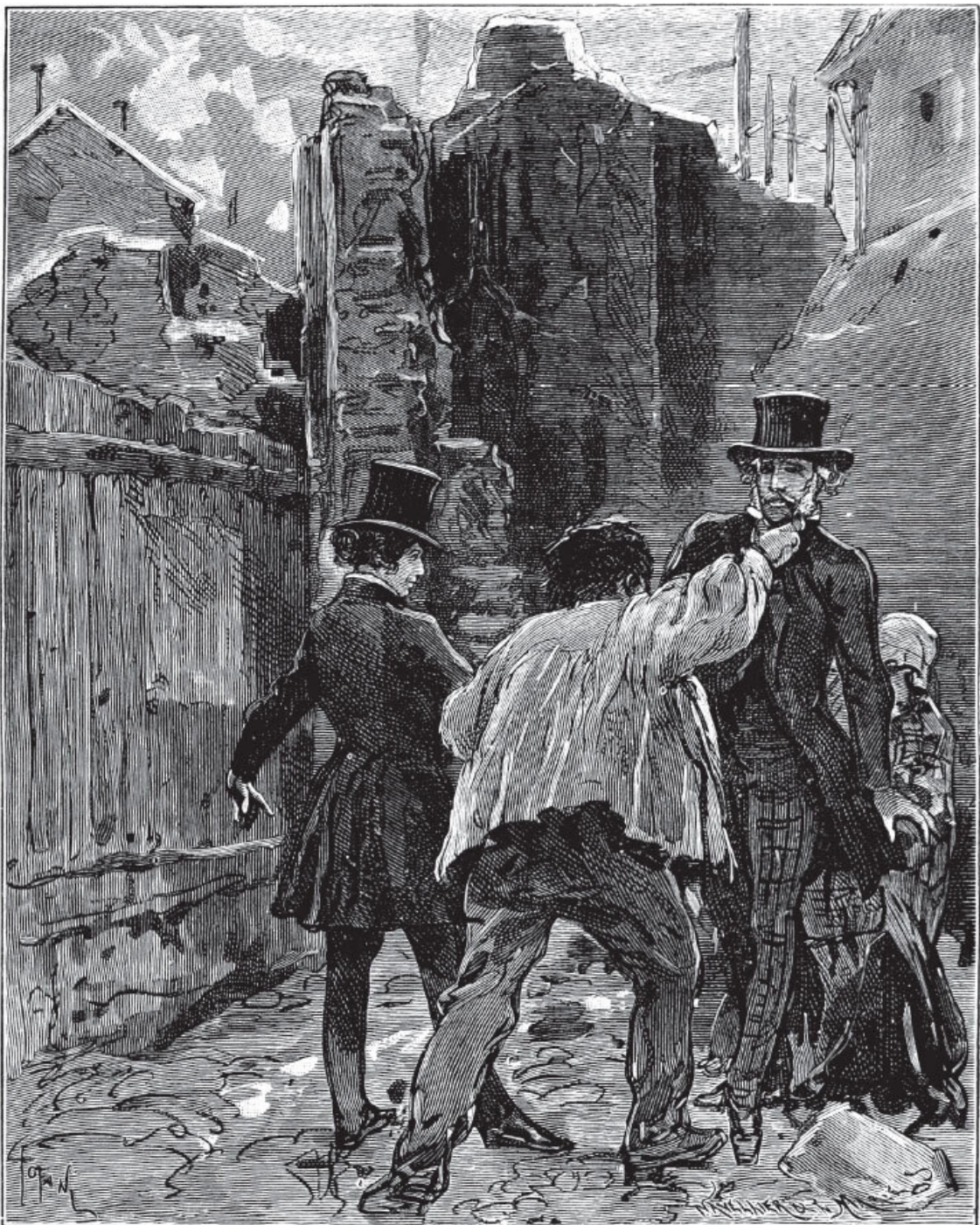
– Отдай им свой кошелек, Том, – сказала она спокойно и, обратившись к разбойнику, добавила: – Мы не станем кричать, не причиняйте нам зла.

Тщательно обшарив карманы своих жертв, попавших в расставленную им западню, Сычиха обратилась к Саре:

– Покажи руки: есть у тебя кольца? Нету колец, – продолжала, ворча, старуха. – Какая беда!

На протяжении всей этой стремительной и неожиданной сцены хладнокровие не изменило Тому.

– Хотите заключить сделку? В моем бумажнике имеются лишь ненужные вам документы; принесите мне его завтра, и вы получите двадцать пять луидоров, – сказал он Грамотею, рука которого уже не так сильно сжимала его горло.



*Прежде нежели Том успел сделать хоть одно движение, Сычиха обчистила его карманы с поразительной хваткой и проворством.*

– И чтобы при этом мы попались в ловушку? Дудки! – ответил грабитель. – А теперь убайрися не оглядываясь. Счастье твое, что ты так дешево отделался.

– Минутку, – сказала Сычиха. – Если он окажется покладистым, то получит обратно свой бумажник, всегда можно договориться. – И, обратившись к Тому, спросила: – Знаете долину Сен-Дени?

– Знаю.

– А Сент-Уен знаете?

– Да.

– Против Сент-Уена, где проходит дорога Восстания, местность ровная, среди полей там далеко видно. Приходите туда завтра утром – один, с деньгами в кармане; вы встретите там меня, и я верну вам бумажник: даешь – берешь.

– Да он же подведет тебя под арест, Сычиха!

– Не такая уж я дура!.. Там все видать как на ладони. У меня только один глаз... но видит он хорошо; если этот господин придет с кем-нибудь, он никого не найдет: я мигом улечусь.

Саре пришла в голову какая-то неожиданная мысль.

– Хочешь хорошо заработать? – спросила она у Грамотея.

– Хочу.

– Видел ты в кабаке, откуда мы вышли, – я только сейчас тебя узнала, – повторяю, видел ли ты в кабаке мужчину, за которым зашел угольщик?

– Мужчину с тонкими усиками? Как не видать. Я собрался мокрого места не оставить от этого мерзавца, но не успел: он оглушил меня двумя ударами и опрокинул на стол, такого со мной еще не бывало... О, я отомщу ему!

– Да, я говорю о нем, – сказала Сара.

– О нем? – вскричал Грамотей. – Тысяча франков чистоганом, и я его убью.

– Сара! – в ужасе крикнул Том.

– Негодай! Речь идет не о том, чтобы его убивать...

– Так о чем же?

– Приходите завтра в долину Сен-Дени, вы встретите там моего спутника, – продолжала она, – убедитесь, что он один; он скажет вам, что надо сделать. И если вам это удастся... я дам вам не тысячу, а две тысячи франков.

– Послушай, чертяка, – шепотом сказала Сычиха, – тут можно хорошо заработать: это – грачи, они, видно, хотят насолить своему врагу, а враг их – тот негодай, которого ты хотел прикончить... Надо пойти туда, но вместо тебя схожу я... Из-за двух тысяч франков, старичок, стоит потрудиться.

– Ладно, приду не я, а моя женушка, – заметил Грамотей. – Вы скажете ей, что надо сделать, а я подумаю...

– Пусть так, значит, завтра в час дня.

– Да, в час дня.

– В долине Сен-Дени?

– В долине Сен-Дени.

– Между Сент-Уеном и дорогой Восстания, в самом ее конце.

– Договорились.

– Я верну вам бумажник.

– И получите обещанные пятьсот франков и, кроме того, задаток в счет другого дела, если вы не будете слишком требовательны.

– Теперь идите направо, а мы пойдем налево. И не смейте следовать за нами, не то...

Грамотей и Сычиха тут же исчезли.

– Сам демон пришел нам на помощь, – проговорила Сара, – этот разбойник может оказать нам услугу.

– Сара, теперь мне страшно, – сказал Том.

– А мне не страшно. Напротив, я надеюсь, но идем, идем скорее, я знаю теперь, где мы находимся, до извозчика недалеко.

И они быстрым шагом направились к площади Парижской Богоматери.

Невидимый свидетель присутствовал при этой сцене.

Свидетелем этим был Поножовщик, укрывшийся от дождя в разрушенном доме. Сговор между Сарой и злодеем, направленный против Родольфа, очень взволновал Поножовщика, он был напуган той опасностью, которая грозила его новому другу, и сожалел, что не может предотвратить ее. По всей вероятности, его ненависть к Грамотею и Сычихе подогревала эти добрые чувства.

Поножовщик решил предупредить Родольфа об ожидающей его беде, но как найти его? Он позабыл адрес мнимого мастера по раскраске вееров. Возможно Родольф больше не зайдет в кабак «Белый кролик», где же искать его? Занятый этими мыслями, Поножовщик машинально последовал за Томом и Сарой; он увидел, что они сели на извозчика, ожидавшего их у паперти собора Парижской Богоматери.

Извозчик тронул.

Блестящая мысль пришла в голову Поножовщику, и он уцепился за задок экипажа.

В час ночи извозчик остановился на бульваре Обсерватории, и Том с Сарой скрылись в одной из близлежащих улочек.

Было темным-темно. Поножовщик не мог найти ничего, что помогло бы ему на следующий день более точно определить место, где он находился. Тогда с хитростью дикаря он вытащил из кармана нож и сделал глубокий надрез на стволе дерева, возле которого остановился экипаж. Затем он вернулся в свое жилище, от которого отъехал довольно далеко. В эту ночь, впервые за долгое время, Поножовщик уснул глубоким сном, который не был потревожен кошмаром о бойне сержантов, как он называл этот кошмар на своем грубом языке.

## Глава VIII

### Прогулка

На следующий день после того вечера, в который произошли события, только что рассказанные нами, яркое осеннее солнце сияло в безоблачном небе; ночная буря миновала, и гнусный квартал, в котором читатель побывал вместе с нами, казался менее отталкивающим в свете погожего дня, хотя и был затенен домами.

То ли Родольф перестал опасаться встречи со старыми знакомыми, которых избегал накануне, то ли решил пренебречь этой возможностью, только в одиннадцать часов утра он появился на Бобовой улице и направился в таверну Людоедки.

Родольф был все так же одет по-рабочему, но в его внешности появилась некая изысканность: под новой открытой на груди блузой виднелась красная шерстяная рубашка с серебряными пуговицами; воротник другой рубашки из белого полотна был небрежно повязан черным шелковым галстуком; из-под небесно-голубой бархатной фуражки с лакированным козырьком выбивались каштановые завитки волос; грубые подбитые шипами башмаки уступили место до блеска начищенным сапожкам, которые подчеркивали изящество его ног, казавшихся особенно маленькими по сравнению с широкими бархатными штанами оливкового цвета.

Этот костюм отнюдь не портил осанки Родольфа, являвшей собой редкое сочетание грации, гибкости и силы.

Наша современная одежда так безобразна, что можно только выиграть, сменив ее на самое заурядное платье.

Людоедка мирно отдыхала на пороге кабака, когда подошел Родольф.

– Я к вашим услугам, молодой человек. Вы, верно, пришли за сдачей со своих двадцати франков? – проговорила она с оттенком почтительности, не решаясь «позабыть» о том, что накануне победитель Поножовщика бросил на ее стойку луидор. – Вам причитается семнадцать ливров десять су... Да, вот еще что... Вчера вас спрашивал высокий, хорошо одетый мужчина; на ногах у него были шикарные сапожки, а под руку он вел маленькую женщину, переодетую мужчиной. Они пили с Поножовщиком мое лучшее вино из запечатанной бутылки.

– А, так они пили с Поножовщиком! И о чем они с ним говорили?

– Я неправильно сказала, что они пили, они лишь пригубили вино и...

– Я спрашиваю тебя, что они говорили Поножовщику.

– Они разговаривали о том о сем... О Красноруком, о вёдре и ненастье.

– Они знают Краснорукого?

– Нет, напротив, это Поножовщик говорил им, что это за птица, и рассказывал, как вы его самого побили.

– Ладно, не об этом толк.

– Так вернуть вам сдачу?

– Да... И я возьму с собой Певунью, чтобы провести с ней день за городом.

– О, это невозможно, мой милый.

– Почему?

– Ведь она может не вернуться, правда? А все, что на ней надето, принадлежит мне, не считая двухсот двадцати франков, которые она задолжала мне за еду и квартиру, с тех пор как живет у меня; не будь она такой честной девочкой, я не пустила бы ее дальше угла этой улицы.

– Певунья должна тебе двести двадцать франков?

– Двести двадцать франков десять су... Но вам-то какое дело до этого, парень? Уж не собираетесь ли вы уплатить за нее? Не разыгрывайте из себя милорда!

– Получай! – сказал Родольф, бросая одиннадцать луидоров на оцинкованную стойку Людоедки. – Теперь, сколько стоит тряпье, в которое она одета?

Изумленная старуха рассматривала один за другим луидоры, всем своим видом выражая сомнение и недоверие.

– Черт подери! Неужто ты думаешь, что я даю тебе фальшивые деньги? Пошли обменять золотые монеты, и покончим с этим делом... Сколько стоит тряпье, которое ты даешь напрокат этой несчастной девушке?

Раздираемая различными чувствами – желанием заключить выгодную сделку, удивлением, что у рабочего может быть столько денег, опасением попасть впросак и надеждой заработать еще больше, Людоедка некоторое время молчала.

– Ее тряпье стоит по меньшей мере... сто франков, – сказала она наконец.

– Такие обноски? Полно!!! Ты оставишь себе вчерашнюю мелочь, и я дам тебе еще один луидор, и ни гроша больше. Позволить тебе так бессовестно обдирать меня значило бы обкрадывать бедняков, которые имеют право на подаяние.

– В таком случае, мой милый, я оставляю за собой это тряпье: Певунья не выйдет отсюда; я вольна продавать мои вещи за удобную мне цену.

– Пусть в аду Люцифер воздаст тебе по заслугам! Вот деньги, ступай и приведи Певунью.

Людоедка забрала золото, подумав, что рабочий совершил кражу или получил наследство, и сказала ему с гаденькой улыбкой:

– А почему бы, сынок, вам самому не сходить за Певуньей?.. Это доставит ей удовольствие... Честное слово мамаша Наседки, вчера она здорово пялила на вас глаза!

– Ступай за ней сама и скажи, что я повезу ее в деревню... и ни слова больше. Главное, чтобы она не знала, что я уплатил ее долг.

– Это еще почему?

– Не все ли тебе равно?

– В самом деле, мне это безразлично, я предпочитаю, чтобы она по-прежнему считала себя в моей власти...

– Да замолчишь ли ты наконец? Ступай!..

– О, какой злока! Жалею тех, с кем вы не в ладах... Хорошо! Иду... иду...

И Людоедка поднялась на чердак.

Несколько минут спустя она вернулась.

– Певунья не хотела мне верить; она покраснела как рак, когда узнала, что вы здесь... А когда я разрешила ей провести день за городом, мне показалось, что она сошла с ума; в первый раз в жизни она чуть не бросилась мне на шею.

– Это от радости... что покидает тебя.

В эту минуту в залу вошла Лилия-Мария, одетая как и накануне: платье из коричневого бомбазина, оранжевая шаль, завязанная на спине, и головная косынка в красную клетку, позволяющая видеть лишь две толстые белокурые косы.

Она вспыхнула, увидев Родольфа, и смущенно опустила глаза.

– Не согласитесь ли вы, детка, провести со мной целый день за городом? – спросил Родольф.

– С большим удовольствием, господин Родольф, раз мадам мне это разрешила.

– Я отпустила тебя, кисонька, в награду за хорошее поведение, которое украшает тебя... Ну же, поцелуй меня...

И мегера приблизила к Лилии-Марии свое лицо в красных прожилках.

Превозмогая отвращение, бедная девушка подставила ей лоб для поцелуя, но Родольф локтем отбросил старуху к ее стойке, взял под руку Лилию-Марию и вышел из кабака под град проклятий мамаша Наседки.

– Будьте осторожны, господин Родольф, – сказала Певунья, – Людоедка, пожалуй, бросит вам что-нибудь в голову: она такая злая!

– Не беспокойтесь, детка. Но что это с вами? Вид у вас смущенный... печальный!.. Вы недовольны, что идете со мной?

– Напротив... но... вы взяли меня под руку.

– Что ж из этого?

– Ведь вы рабочий... И кто-нибудь может сказать вашему хозяину, что встретил вас со мной... Как бы это не повредило вам. Хозяева не любят, когда их подчиненные уходят с работы.

И Певунья осторожно высвободила свою руку.

– Идите один... я дойду вслед за вами до заставы... А как только мы очутимся за городом, я присоединюсь к вам.

– Ничего не бойтесь, прошу вас, – сказал Родольф, тронутый ее деликатностью, и снова взял под руку Лилию-Марию. – Мой хозяин живет далеко отсюда, к тому же мы найдем извозчика на Цветочной набережной.

– Как вам будет угодно, господин Родольф; я сказала так, чтобы не навлечь на вас неприятностей...

– Верю вам, спасибо. Но скажите откровенно, вам все равно, куда ехать?

– Да, все равно, лишь бы это было за городом... В деревне так красиво... и так приятно дышать чистым воздухом! Знаете, за последние пять месяцев я ни разу не была дальше Цветочного рынка! И Людоедка лишь потому отпускала меня из Сите, что очень мне доверяет.

– А для чего вы ходили на рынок? Чтобы купить цветов?

– О нет, у меня не было на это денег; я ходила туда посмотреть на цветы, понюхать их... И в базарные дни, когда Людоедка разрешала мне провести полчаса на рынке, я чувствовала себя такой счастливой, что забывала обо всем.

– А когда вы возвращались к Людоедке... по этим гадким улицам?..

– Как вам сказать... Мне было еще более грустно, чем до прогулки... и я сдерживала слезы, чтобы не нарваться на побои. И знаете... кому я завидовала на рынке... очень завидовала?.. Молоденьким работницам, таким чистеньким, которые шли с рынка веселые-превеселые с горшком красивых цветов в руках.

– Я уверен, что, будь у вас на подоконнике несколько горшков с цветами, вы не чувствовали бы себя такой одинокой.

– Ваша правда, господин Родольф! Представьте себе, что однажды, на свои именины, Людоедка – она знала, что я люблю цветы, – подарила мне маленький розовый кустик. Если бы вы знали, как я была счастлива! Я даже перестала скучать, ей-богу! Я то и дело смотрела на свою розочку... Забавлялась, считая ее листики, бутоны... Но в Сите плохой воздух, два дня спустя розочка стала желтеть. Тогда... Но вы станете смеяться надо мной, господин Родольф.

– Нет, нет, продолжайте.

– Так вот, я попросила у Людоедки позволения гулять с моей розочкой, как я гуляла бы с ребенком. Да, я ходила с ней на набережную, воображая, что ей полезно побыть с другими цветами, на свежем, хорошем, душистом воздухе; я смачивала ее поблекшие листочки в чистой воде, потом я вытирала их и на четверть часа выставляла цветок на солнце... Дорогая моя розочка никогда не видела солнца в Сите... впрочем, как и я... ведь на нашей улице солнце не опускается ниже крыши... Наконец я возвращалась... Уверяю вас, господин Родольф, что благодаря этим прогулкам моя розочка прожила на десять дней больше, чем прожила бы без них.

– Охотно верю, и, конечно, для вас было большой потерей, когда она погибла.

– Да, я оплакивала ее, это было для меня настоящим горем... И вот что, господин Родольф, раз вы понимаете, что можно любить цветы, я могу сказать вам одну вещь. Так вот, я питала нечто вроде благодарности... Ну, теперь вы непременно посмеетесь надо мной...

– Нет, нет! Я люблю, я обожаю цветы! И вполне понимаю те безрассудства, которые люди совершают из-за них.

– Так вот, я была благодарна моему бедному кустику, который так мило цвел для меня... хотя... словом... несмотря на то, что я представляю собой...

И Певунья, опутив голову, покраснела от стыда.

– Бедная девочка! Вы так ясно сознавали весь ужас своего положения, что, вероятно, нередко...

– ...Мне хотелось покончить с собой, вы это хотели сказать, господин Родольф? – подхватила Певунья, прервав своего спутника. – О да, можете мне поверить: не раз за последний месяц я смотрела поверх парапета на Сену... но затем я смотрела на цветы, на солнце... И думала: река останется на своем месте; мне еще нет семнадцати лет... как знать?

– Когда вы говорили себе: «Как знать?..» – вы на что-то надеялись?

– Да.

– На что же?

– Сама не знаю... Я надеялась... Да, надеялась помимо воли... В такие минуты мне казалось, что моя горькая судьба незаслуженна, что во мне есть что-то и хорошее. Я говорила себе: «Мне очень тяжело пришлось, но, по крайней мере, я никогда никому не делала зла... Если бы я могла посоветоваться с кем-нибудь, то не дошла бы до того, до чего дошла!» Эти мысли разгоняли немного мою грусть... Надо сказать, что они стали приходить ко мне после гибели моего розового кустика, – прибавила Певунья с торжественным видом, вызвавшим улыбку у Родольфа.

– И это большое горе еще не прошло?..

– Нет... Вот взгляните.

И Певунья вытащила из кармана маленький сверток с засохшим розовым кустиком, тщательно перевязанным розовой шелковой лентой.

– И вы его сохранили?

– Ну конечно... Это все, что у меня есть на белом свете.

– Как, у вас нет ничего своего?

– Ничего...

– А это коралловое ожерелье?

– Оно принадлежит Людоедке.

– Как, у вас нет ни носового платка, ни чепчика, ни какой-нибудь тряпицы?

– Ничего у меня нет, ничегошеньки... только сухие веточки моей бедной розы, вот почему я так дорожу ими.

С каждым словом Певуньи удивление Родольфа возрастало; он не мог понять этого жуткого рабства, этой чудовищной торговли телом и душой женщины, продающей себя за грязное помещение, за поношенное платье и несъедобную пищу<sup>59</sup>.

Родольф с Певуньей дошли до Цветочной набережной, где их ждал извозчик. Родольф посадил Певунью и сел подле нее.

– В Сен-Дени, – сказал он кучеру, – там я скажу, куда ехать дальше.

Извозчик тронул; солнце сияло, на небе не было ни облачка; стекла карсты были опущены, и в нее врывался чистый прохладный воздух.

– Что это? Женское пальто! – воскликнула Певунья, заметив, что она сидит на чем-то мягком.

– Да, пальто для вас, детка; я захватил его, опасаясь, как бы вы не продрогли. Хорошенько закутайтесь в него.

---

<sup>59</sup> Если бы нам было разрешено входить в подробности, которых мы поневоле избегаем, мы доказали бы, что это рабство существует, что полиция ему не препятствует, что несчастная женщина, нередко проданная своими близкими и брошенная в омут разврата, осуждена, так сказать, навеки оставаться в нем, что ее раскаяние, ее угрызения совести бесплодны и что фактически ей почти невозможно выбраться из этой грязи. (См. прекрасную книгу доктора Паран-Дюшатле, труд философа и благородного человека.) (Примеч. автора.)

Певунья, не привыкшая к такой предупредительности, с удивлением взглянула на Родольфа.

– Боже мой, как вы добры, господин Родольф! Мне просто совестно.

– Из-за того, что я добрый?

– Нет, но... вы говорите сегодня не так, как вчера, да и сами стали совсем другим.

– Скажите, Лилия-Мария, какой Родольф вам больше нравится, вчерашний или сегодняшней?

– Вы мне больше нравитесь таким, как сегодня... Однако вчера мне казалось, что я вам ровня...

И, сразу спохватившись, что могла его обидеть своими словами, она пояснила:

– Хотя я и сказала, что вам ровня, но я прекрасно понимаю, что это не так...

– Вот что меня удивляет, Лилия-Мария.

– Что именно, господин Родольф?

– Вы словно забыли то, что вам сказала вчера Сычиха... будто она знает ваших родителей... вашу мать.

– О, я ничего не забыла... Я думала этой ночью о ее словах и плакала... Но я уверена, что это неправда... Одноглазая выдумала эту историю, чтобы меня огорчить...

– Вполне возможно, что Сычиха лучше осведомлена, чем вы полагаете... А если это так, разве вы не были бы рады найти вашу мать?

– Увы, господин Родольф, если моя мать никогда не любила меня, к чему мне находить ее?... Она даже не захочет взглянуть на меня... А если бы она меня любила... я опозорю ее!.. Она может умереть от стыда.

– Если мать любила вас, Лилия-Мария, она пожалеет вас, простит и снова полюбит... Если она вас бросила... то, увидев, на какую страшную долю она обрекла вас своим поступком... Стыд, испытанный ею, послужит вам отпущением.

– А к чему мне мстить ей? А кроме того, если бы я отомстила, мне кажется, что уже не имела бы права считать себя несчастной... А подчас это меня утешает.

– Вы правы, не будем больше говорить об этом.

Карета как раз подъезжала к Сент-Уену, к тому месту, где расходятся два пути: шоссе на Сен-Дени и дорога Восстания.

Несмотря на однообразие пейзажа, Лилия-Мария пришла в такой восторг при виде полей, как она говорила, что, позабыв о печальных мыслях, навеянных воспоминанием о Сычихе, она восторженно и ее прелестное личико просияло. Она выглянула в дверцу кареты и, хлопая в ладоши, воскликнула:

– Господин Родольф, какое счастье!.. Трава, поля! Если вы только позволите, я спущусь вниз... Какая чудная погода! Мне так хочется побегать по лугам...

– Побегаем, детка... Извозчик, останови!

– Как! Вы тоже хотите побегать, господин Родольф?

– Еще бы, это такое удовольствие.

– Какое счастье! Господин Родольф!!!

И Родольф с Певуньей, схватившись за руки, побежали во всю прыть по обширному лугу, с опозданием скошенному во второй раз.

Прыжки, веселье, радостные крики, восторг Лилии-Марии не поддаются описанию. Подобно козочке, долго пробывшей взаперти, она с упоением вдыхала живительный воздух... Она ходила туда-сюда, останавливалась и вновь самозабвенно бежала дальше.

При виде растущих кучками маргариток и золотых бубенчиков, выдержавших первые заморозки, Певунья не могла удержаться от возгласов радости, она собрала все цветы до единого. Вдосталь набегавшись, она быстро устала, ибо отвыкла от таких игр, остановилась, чтобы перевести дух, и села на ствол дерева, лежащий у края глубокого рва.

На чистом белом личике Лилии-Мари, обычно слишком бледном, появился яркий румянец. Ее большие голубые глаза сияли, алые губки открывали два ряда влажных жемчужин, грудь бурно вздымалась под старенькой оранжевой шалью; одну руку она прижимала к сердцу, чтобы унять его биение, а другой протягивала Родольфу букет собранных ею полевых цветов.

Как пленительно было выражение невинной и чистой радости, которой дышало это целомудренное личико!

Обретя дар речи, Лилия-Мария сказала Родольфу:

– Как добр Господь Бог, что послал нам такой чудесный денек!



*При виде растущих кучками маргариток и золотых бубенчиков, выдержавших первые заморозки, Певунья не могла удержаться от возгласов радости, она собрала все цветы до единого.*

И в ее словах прозвучало глубокое счастье и чуть ли не мистическая благодарность.

Слезы выступили на глазах Родольфа, когда он услышал, что Лилия-Мария, обездоленная, покинутая, презируемая, погибшая девушка, не имевшая ни крова, ни хлеба, обратилась с этим криком души и неизъяснимой признательности к Создателю лишь потому, что наслаждалась солнцем и видом скошенного луга.

Созерцательное настроение Родольфа было нарушено непредвиденным случаем.

## Глава IX

### Неожиданность

Мы уже говорили, что Певунья села на ствол дерева, лежащий у края глубокого рва.

Какой-то мужчина неожиданно вылез из этой рытвины и, сбросив с себя охапку сена, под которой он прятался, разразился оглушительным хохотом.

Певунья вскрикнула от ужаса и обернулась.

Это был Поножовщик.

– Не бойся, дочка, – сказал Поножовщик при виде испуга девушки, которая прижалась к своему спутнику. – Послушайте, господин Родольф, вот удивительная встреча, а? Вы не ждали ничего такого? Я тоже... – Затем он прибавил уже серьезным тоном: – Вот что, хозяин... видите ли, можно говорить что угодно... но что-то есть там, в небе... наверху... над нашими головами... Всемогутный – хитрец! На мой взгляд, он говорит каждому человеку: «Ступай туда, куда я тебя направляю...» – вот он и направил сюда вас обоих, что чертовски странно!

– Что ты тут делаешь? – спросил крайне удивленный Родольф.

– Я тут на посту ради вас, хозяин... Но, дьявольщина! Какая удача, что вы пришли в окрестности моего загородного дома... Право, тут что-то есть... положительно что-то есть...

– Еще раз спрашиваю, что ты тут делаешь?

– Немного погода вы все узнаете. Дайте срок, мне надо влезть на вашу конную обсерваторию.

Поножовщик бросился бегом к извозчику, стоявшему неподалеку, окинул своим зорким взглядом долину и поспешно вернулся обратно.



*Лилия-Мария*

- Да объяснишь ли ты мне наконец, что все это значит?
- Терпение, терпение, хозяин... еще один вопрос... Который час?
- Половина первого, – ответил Родольф, взглянув на часы.
- Ладно... у нас еще есть время... Сычиха придет сюда лишь через полчаса.
- Сычиха! – воскликнули разом Родольф и молодая девушка.
- Да... Сычиха. В двух словах, хозяин, вот какая вышла история: вчера, когда вы выбра-  
жали из кабака, туда пришли...

– Высокий мужчина и женщина, переодетая мужчиной, которые справлялись обо мне. Знаю. Дальше.

– Затем они выставили мне бутылку вина и хотели заставить меня болтать о вас... Я ничего не мог им сказать... уж по одному тому, что вы не сообщили мне ничего, разве только, как можно осчастливить человека, отколошматив его... Из ваших секретов я знал лишь тот, что имел касательство к последним кулачным ударам. Да и если бы я знал что-нибудь, ничего бы не изменилось, потому что я ваш друг до гроба... мэтр Родольф... Пусть меня изжарят в аду, если я знаю, почему это так, но я чувствую к вам как бы привязанность бульдога к своему хозяину... Но тут уж ничего не поделаешь... Эта привязанность сильнее меня, и я решил не думать о ней... Теперь это ваша забота... Поступайте со мной как знаете...

– Благодарю тебя, приятель, но продолжай...

– Высокий господин и маленькая дама, переодетая мужчиной, поняли, что ничего из меня не вытянут; они ушли от Людоедки, я тоже ушел... они повернули в сторону Дворца правосудия, я – в сторону собора Парижской Богоматери. Дойдя до конца улицы, замечаю, что дождь припустил всюду, настоящий потоп. Вижу поблизости полуразрушенный дом и говорю себе: «Если ливень продлится, я не хуже проведу здесь ночь, чем в моей конуре». Соскальзываю в какой-то подвал, где не каплет, устраиваю себе постель на старой балке, подушкой мне служит строительный мусор, словом, располагаюсь со всеми удобствами, как король...

– Дальше, дальше!..

– Мы пили с вами вместе, мэтр Родольф, да я еще выпил с высоким господином и с маленькой женщиной, переодетой мужчиной... это к слову, чтобы вы знали, что голова у меня была тяжелая... да и, кроме того, ничто так не усыпляет, как шум дождя. Итак, я преспокойно заснул. Словно бы недолго я задавал храпака, как вдруг какой-то шум разбудил меня; это был голос Грамотея, который, можно сказать, *дружески* беседовал с кем-то. Прислушиваюсь... Дьявольщина!.. Кого же я узнаю? Высокого господина, того, что был в кабаке с маленькой женщиной.

– Они беседовали с Грамотеем и Сычихой? – спросил Родольф с крайним изумлением.

– Да... Они договаривались встретиться на следующий день.

– Значит, сегодня! – воскликнул Родольф.

– В час дня.

– Через несколько минут!

– У развилки шоссе на Сен-Дени и дороги Восстания.

– Здесь?!

– Правильно, господин Родольф, здесь!

– С Грамотеем?! Будьте осторожны, господин Родольф! – воскликнула Певунья.

– Успокойся, дочка, он не придет, явится сюда одна Сычиха.

– Как мог этот человек войти в сношения с такими двумя негодяями? – сказал Родольф.

– Честное слово, понятия не имею. Вероятно, я проснулся лишь в конце разговора – мужчина просил вернуть бумажник, который Сычиха обещала принести ему сюда... за вознаграждение в пятьсот франков. Надо думать, что сначала Грамотей обокрал их... и что лишь после этого они стали разговаривать по душам.

– Как это странно...

– Боже мой, все это пугает меня из-за вас, господин Родольф, – пролепетала Лилия-Мария.

– Господин Родольф не ребенок, дочка; но ты верно сказала: Грамотей вполне может подложить ему свинью.

– Продолжай, приятель.

– Высокий мужчина и маленькая женщина пообещали две тысячи франков Грамотею, видно, для того, чтобы он напакостил вам, а как – понятия не имею. Вскоро сюда придет

Сычиха: она вернет высокому мужчине его бумажник, узнает, чем тут пахнет, и передаст все, что требуется, своему муженьку, который возьмется за остальное.

Лилия-Мария вздрогнула.

Родольф презрительно улыбнулся.

– Две тысячи франков, чтобы напакостить вам! Мэтр Родольф... это наводит меня на мысль (я не хочу ни с кем себя сравнивать) об объявлениях, в которых обещается награда в сто франков за потерянную собаку. Прочитав такое объявление, я скромно говорю себе: «Скотина, если ты потеряешься, никто не даст и пяти франков, чтобы вернуть тебя». Две тысячи франков, чтобы напакостить вам!.. Кто же вы такой?

– Я скажу тебе это немного погодя.

– Ладно, хозяин... Услышав такое предложение, я подумал: «Надо узнать, где обосновались эти богачи, которые хотят науськать Грамотея на господина Родольфа; это может пригодиться». Когда они немного отошли, я вылез из своего подвала и крадучись последовал за ними; на площади собора Парижской Богоматери большой мужчина и маленькая женщина подходят к извозчику, садятся в карету, я на запятки, и мы прибываем на бульвар Обсерватории. Было темно, как в печке, я ничего не мог разглядеть и сделал зарубку на дереве, чтобы найти это место на следующий день.

– Очень хорошо, приятель.

– Сегодня утром я вернулся туда. В десяти шагах от моего дерева... я увидел улочку, перегороженную барьером... в уличной грязи отпечатки маленьких и больших ног... В конце улочки садовая калитка, где шаги прекращаются... здесь, видно, и свили себе гнездо высокий мужчина и маленькая женщина.

– Спасибо, дорогой; сам того не зная, ты оказал мне большую услугу.

– Прошу прощения, мэтр Родольф, я догадался кой о чем... и потому сделал это.

– Понимаю, приятель, и мне хотелось бы вознаградить тебя не только словами благодарности... К несчастью, я всего лишь бедняк-рабочий... хотя за то, чтобы напакостить мне, обещаны, как ты говоришь, две тысячи франков... Я объясню тебе, в чем дело.

– Ладно, говорите али нет – мне все равно... Против вас задумано черное дело, а я хочу ему помешать... Остальное меня не касается.

– Я догадываюсь, чего они добиваются. Выслушай меня: я изобрел способ механически обтачивать слоновую кость для вееров, но изобрел его не один; я жду моего компаньона, чтобы применить этот способ; а нашей моделью хотят во что бы то ни стало овладеть мои конкуренты, так как благодаря ей можно заработать большие деньги.

– Так, значит, высокий мужчина и маленькая женщина...

– Фабриканты, у которых я работал, но не захотел открыть им свой секрет...

Это объяснение, видимо, удовлетворило Поножовщика, человека не слишком развитого.

– Теперь я все понял... Подумать только, какие прощелыги!.. И у них даже не хватает смелости самим сделать эту подлость... Еще несколько слов, чтобы закончить мой рассказ. Вот что я подумал сегодня утром: «Я знаю, где встретятся Сычиха и высокий мужчина, и подожду их там; ноги у меня хорошие, а мой подрядчик наберется терпения, плевать на него... Я прихожу сюда... вижу эту дыру, беру вон там охапку сена, прячусь под ней до кончика носа и жду Сычиху... Но вот неожиданно-негаданно вы приезжаете в эту долину, и бедная Певунья садится как раз на край моей засады; тут, как на грех, мне захотелось позабавиться, и, сбросив с себя сено, я заорал как полоумный.

– Что же ты собираешься делать?

– Дождаться Сычихи – она наверняка придет первая – и постараться услышать, что она скажет высокому мужчине, поскольку это может вам пригодиться. На всем этом поле есть только этот ствол дерева, словно нарочно оставленный здесь, чтобы люди могли посидеть и отдохнуть; отсюда все видать как на ладони... Свидание Сычихи назначено у перекрестка, в

четырех шагах отсюда; готов поспорить, что наши голубчики сядут именно здесь; а если нет и я ничего не услышу... то, когда они разойдутся, я нападу на Сычиху – и на том спасибо, – уплачу ей, что положено, за зуб Певуны, а затем примусь душить ее до тех пор, пока она не назовет фамилию родителей этой бедной девушки... Что вы скажете о моем плане, мэтр Родольф?

– Твой план неплох, парень, но в нем надо кое-что исправить.

– Главное, Поножовщик, не затевайте ссоры из-за меня... Если вы побьете Сычиху, Грамотей...

– Замолчи, дочка... Сычихе не миновать моих кулаков... Дьявольщина! И как раз потому, что у нее есть защитник, Грамотей, я удвою дозу колотушек.

– Послушай, парень, у меня есть лучший способ отомстить Сычихе за ее издевательства над Певуньей, о чем я скажу тебе позже. – И, отходя на несколько шагов от Певуны, Родольф продолжал, понизив голос: – Хочешь оказать мне настоящую услугу?..

– Приказывайте, мэтр Родольф.

– Сычиха тебя не знает?

– Вчера в кабаке я видел ее в первый раз.

– Вот что надо сделать... Сначала ты спрячешься, но, когда она подойдет сюда, ты выйдешь из своей засады.

– Чтобы свернуть ей шею?..

– Нет... Это потом!.. Сегодня надо только помешать ей встретиться с высоким мужчиной... Видя, что она не одна, он не решится подойти... Если он все же подойдет, не отходи от нее ни на минуту... при тебе он не будет говорить с ней начистоту.

– Если мужчина найдет меня слишком навязчивым... я отколочу его по первое число... Он не Грамотей и не мэтр Родольф.

– Я знаю этого человека, он не станет связываться с тобой.

– Ладно, я слеую за Сычихой как ее тень. Человек этот не сможет сказать при мне ни одного слова, которого бы я не услышал, и в конце концов уберется восвояси...

– Если они договорятся о другой встрече, ты узнаешь об этом, поскольку все время будешь при них. Впрочем, само твое присутствие отпугнет высокого мужчину.

– Прекрасно. А после я задам трепку Сычихе?.. От этого я не могу отказаться.

– Не теперь... Одноглазая не знает: вор ты или нет?

– Откуда ей знать, разве только Грамотей говорил ей загодя, что воровать не в моих правилах...

– Если он говорил ей об этом, ты сделаешь вид, что изменил своим принципам.

– Я?

– Ты!..

– Дьявольщина! Господин Родольф... Но подумайте... Гм! Гм... Такая игра мне не подходит.

– Ты поступишь как сочтешь нужным... Увидишь, я не предлагаю тебе ничего бесчестного...

– О, на этот счет я спокоен.

– И ты прав.

– Говорите, хозяин... Я поступлю, как вы прикажете.

– Как только высокий мужчина уйдет, ты постарайся умаслить Сычиху.

– Я? Эту старую гадину... Мне было бы легче подражаться с Грамотеем. Я не знаю, сумею ли я удержаться, чтобы сразу не наброситься на нее.

– Тогда ты все испортишь.

– Но что же я должен сделать?

– Сычиха будет в ярости оттого, что денежки от нее уплыли; ты постарайся успокоить ее, скажешь, будто у тебя наклеивается выгодное дельце, ради которого ты должен встретиться здесь со своим сообщником; ну а если Грамотей захочет присоединиться к вам... можно получить большие деньги.

– Гм... гм...

– После часа ожидания ты скажешь ей: «Мой товарищ не пришел... Придется отложить встречу» – и назначишь свидание Сычихе и Грамотею на завтра... пораньше. Понимаешь?

– Понимаю.

– А сегодня вечером приходи в десять часов на угол Елисейских полей и аллеи Вдов; я буду ждать тебя и объясню остальное...

– Если вы готовите им западню, будьте осторожны!.. Грамотей хитрец... Вы побили его... При малейшем подозрении он может вас убить...

– Будь спокоен.

– Дьявольщина! Вот так штука... Вы из меня прямо-таки веревки вьете. Не скажу, чтобы я колебался: чует мое сердце, что Грамотей и Сычиха хлебнут горя... И все же... Еще одно слово, господин Родольф.

– Говори.

– Я не думаю, что вы способны устроить ловушку Грамотею и предать его в руки полиции... Он закоснелый негодяй, который давно заслуживает смерти... но подвести его под арест... это не мое дело.

– И не мое, приятель; но мне надо свести счеты с ним и с Сычихой, которые вступили в заговор с моими недругами. И вдвоем с тобой, если ты согласен мне помочь, мы справимся с ними.

– Ладно, поскольку мерзавец этот не лучше своей мерзавки... я с вами заодно.

– И если мы добьемся удачи, – сказал Родольф серьезным, торжественным тоном, который поразил Поножовщика, – ты будешь так же горд, как после спасения тонущего солдата и чуть не сгоревшей женщины, которые обязаны тебе жизнью.

– Как вы это сказали, мэтр Родольф! Я никогда не замечал у вас такого взгляда... Но скорей, скорей, – вскричал Поножовщик, – я вижу вдалеке белую точку; это, должно быть, чепец Сычихи. Уезжайте, а я снова залезу в свою дыру.

– Сегодня, в десять часов вечера...

– На углу аллеи Вдов и Елисейских полей, договорились?

Лилия-Мария не слышала последней части разговора Поножовщика и Родольфа. Она первая села в карету.

## Глава X

### Ферма

После своих переговоров с Поножовщиком Родольф был некоторое время задумчив, озабочен.

Лилия-Мария, не решавшаяся прервать молчание своего спутника, печально смотрела на него.

Подняв голову, Родольф спросил ее с доброй улыбкой:

– О чем вы думаете, детка? Вам неприятно было встретиться с Поножовщиком, да? Нам было так весело!

– Наоборот, господин Родольф, эта встреча большая удача для нас, ведь Поножовщик может оказать вам услугу.

– Скажите, не считался ли Поножовщик среди завсегдатаев кабака человеком, сохранившим кое-какие добрые чувства?

– Не знаю, господин Родольф... До вчерашнего дня я часто его видела, но почти никогда с ним не говорила... Я думала, что он такой же злой, как и все остальные.

– Позабудем обо всем этом, милая Лилия-Мария, мне было бы очень неприятно опечалить вас; мне так хотелось, чтобы вы хорошо провели этот день.

– О, я очень счастлива! Ведь я давным-давно не была за городом.

– Со времени ваших поездок в кабриолете с Хохотушкой?

– Бог ты мой, да... Это было весной, и, хотя теперь глубокая осень, прогулка доставляет мне такое же большое удовольствие. Как ярко светит солнце!.. Взгляните на розовые облачка там... вдаль... А этот холм... и хорошенькие белые домики среди деревьев... Листья еще не облетели. Это удивительно для ноября, правда, господин Родольф? В Париже листья так быстро опадают... А вон там стайка голубей... Смотрите, они сели на крышу мельницы... В деревне не устаешь смотреть вокруг: все так занятно!

– Одно удовольствие, Лилия-Мария, видеть, как вы восприимчивы ко всем мелочам, которые создают очарование загородного пейзажа.

В самом деле, по мере того как девушка созерцала эту спокойную, ласкающую взор картину, ее личико снова расцветало.

– Вон там, на вспаханных полях, горит солома, красивый белый дым поднимается к небу... А этот плуг, в который впряжена пара хороших, упитанных лошадей серой масти. Будь я мужчиной, я с радостью стала бы пахарем... Идти за плугом по безмолвному полю... и видеть далеко-далеко большие леса, особенно по такой погоде, как сегодня!.. Тут сразу захочется спеть одну из тех грустных песен, от которых слезы навертываются на глаза... как, например, о Женевиеве Брабантской. Вы знаете эту песню, господин Родольф?

– Нет, детка, но будет очень мило, если вы споете ее сегодня попозже, на ферме, ведь впереди у нас с вами целый день.

– Какое счастье! Мы едем на ферму, господин Родольф?

– Да, на ферму моей кормилицы, хорошей, достойной женщины, которая меня вырастила.

– И мы сможем выпить там молока?

– Подумаешь, молока! Мы отведаем превосходных сливок, которые фермерша снимет при нас, и свежайших яиц.

– И мы сами вынем их из гнезда?

– Разумеется...

– И мы сходим на скотный двор, чтобы взглянуть на коров?

– Конечно.

– И на молочную ферму тоже?

– Да, и на молочную ферму.

– И на голубятню?

– Да, и на голубятню.

– Право, господин Родольф, прямо не верится... Как мне будет весело! Какой чудесный день!.. Какой чудесный день! – радостно воскликнула Лилия-Мария.

Но тут мысли девушки внезапно приняли другой оборот: она подумала, что после часов, проведенных на свободе, в деревне, ей придется вернуться на свой вонючий чердак, и, закрыв лицо руками, она расплакалась.

– Что с вами, Лилия-Мария? Кто вас огорчил? – удивленно спросил Родольф.

– Ничего... ничего, господин Родольф.

И она вытерла глаза и попыталась улыбнуться.

– Простите, если я опечалилась... не обращайтесь внимания, это просто так, клянусь вам... одна мысль пришла в голову... я развеселюсь.

– Но вы только что были такая радостная.

– Именно поэтому мне и взгрустнулось, – наивно ответила Лилия-Мария, подняв на Родольфа глаза, еще мокрые от слез.

Эти слова многое сказали Родольфу: он обо всем догадался.

Желая развеять подавленное настроение девушки, он сказал ей с улыбкой:

– Держу пари, что вы подумали о своей розочке. Уверен, вы жалеете, что не можете разделить с ней удовольствие от поездки на ферму. Бедный розовый кустик! Вы способны были бы и его напоить сливками!

Певунья воспользовалась этой шуткой, чтобы улыбнуться; мало-помалу легкое облачко грусти рассеялось; она решила бездумно наслаждаться настоящим и закрыть глаза на будущее.

Карета приближалась к Сен-Дени, высокий шпиль церкви виднелся вдали.

– О, какая красивая колокольня! – воскликнула Певунья.

– Это великолепная церковь Сен-Дени... Хотите, я прикажу извозчику остановиться?

Певунья опустила глаза.

– С тех пор как я живу у Людоедки, я ни разу не входила в церковь, я не смела. Зато в тюрьме я очень любила петь в хоре во время мессы! И в Праздник Тела Господня мы делали такие красивые букеты для алтаря.

– Но Господь Бог добр, милостив: почему вы боитесь обратиться к нему с молитвой, войти в церковь?

– О нет... нет... господин Родольф... Это было бы кощунством... Я и без того гневлю Бога.

– Скажите, вы любили кого-нибудь до сих пор?

– Нет, никогда.

– Почему?

– Вы же видели посетителей кабака... а кроме того, чтобы любить, надо быть честной...

– Честной?

– Да, зависеть только от себя... суметь... Но если вам все равно, господин Родольф, пожалуйста, не будем говорить об этом.

– Хорошо, Лилия-Мария, поговорим о другом... Но почему вы так смотрите на меня? И снова ваши красивые глаза полны слез... Я огорчил вас чем-нибудь?

– О, как раз напротив; но вы так добры ко мне, что у меня слезы навертываются на глаза... и потом вы не говорите мне «ты», и потом... можно подумать, что вы взяли меня на прогулку только ради моего удовольствия: такое у вас бывает довольное выражение лица, когда вы видите меня счастливой. Вы не только защитили меня вчера... вы позволяете мне провести с вами такой чудесный день.

– Правда, вы чувствуете себя счастливой?

– Я долго-долго не забуду этого счастья.

– Счастье бывает так редко.

– Да, очень редко.

– По правде сказать, за неимением того, чего у меня нет, я забавляюсь иногда, предаваясь мечтам, и говорю себе: «Вот кем бы мне хотелось быть... вот доля, которая пришлась бы мне по душе...» А вам, Лилия-Мария, наверное, тоже случается мечтать, строить воздушные замки?

– Да, прежде, в тюрьме, до моего прихода к Людоедке, я только и делала, что мечтала и пела; но теперь это бывает со мной все реже... А чего бы вам хотелось, господин Родольф?

– Быть богатым, очень богатым... Иметь слуг, экипажи, выезжать в свет, каждый день бывать в театре. А вы о чем мечтаете, Лилия-Мария?

– Я не так требовательна, как вы; мне хотелось бы расплатиться с Людоедкой и иметь после этого немного денег, чтобы подыскать работу, снять уютную маленькую комнатку, очень чистенькую, с деревьями перед окнами, на которые я поглядывала бы, сидя за шитьем.

– И много цветов на подоконнике?..

– О, конечно... И, если только это возможно, жить в деревне, вот и все.

– Комнатка, работа – это лишь необходимое; но в мечтах можно позволить себе и нечто большее... Разве вам не хотелось бы иметь выезд, бриллианты, красивые платья?

– Столького я не требую... Быть свободной, жить в деревне и не бояться, что умрешь в больнице... О, главное не умереть в больнице... И знаете, господин Родольф, такая мысль часто приходит мне в голову, это мучительно!

– Увы, нам, бедным людям...

– Я говорю не о нищете... А о том, что бывает после смерти.

– И что же?

– Вы не знаете, что делают с бедняками после смерти?

– Нет...

– Я дружила с тюрьме с одной девушкой... Она умерла в больнице... А тело ее отдали хирургам, – прошептала, вздрогнув, бедняжка.

– Неужели, несчастная, у вас часто бывают такие мрачные мысли? Это ужасно!!!

– Вас удивляет, господин Родольф, что я стыжусь того, что будет с моим телом после смерти... Увы, боже мой... ведь только этот стыд мне и оставили...

Эти горькие, скорбные слова глубоко опечалили Родольфа. Он, содрогаясь, закрыл лицо руками; он думал о роке, поразившем Лилию-Марию... думал о матери этой несчастной девушки... Ее мать... Она была счастлива, богата, быть может, уважаема...

Уважаема... богата... счастлива... А ее дочь, которой она, вероятно, безжалостно пожертвовала, чтобы избежать позора, сменила чердак Сычихи на тюрьму, а тюрьму на вертеп Людоедки; из этого вертепа она может попасть в больницу... а после смерти...

Какая страшная судьба!

Горькие, скорбные слова Певуньи глубоко опечалили Родольфа.

Видя мрачное выражение его лица, она застенчиво сказала:

– Простите, господин Родольф, мне следовало отогнать эти грустные мысли. Вы взяли меня с собой, чтобы доставить мне удовольствие, а я то и дело говорю вам что-нибудь печальное... такое печальное, господи, что и сама не знаю, как это получается, право же, это помимо моей воли... Я никогда не была счастливее, чем сегодня, и, однако, слезы поминутно навертываются на глаза... Вы не гневаетесь на меня из-за этого? Скажите, господин Родольф? Впрочем... видите... эта грусть рассеялась так же быстро, как и пришла... Теперь... я о ней даже не думаю... Я буду благоразумна... Пожалуйста, господин Родольф, посмотрите мне в глаза.

И Лилия-Мария, раза два-три прикрыв веки, чтобы прогнать последние упрямые слезинки, широко-широко открыла глаза и взглянула на Родольфа с очаровательной наивностью.

– Лилия-Мария, умоляю вас, не принуждайте себя. Будьте веселой, если вам весело... и грустной, если вам грустно... Бог ты мой, на меня, говорящего с вами, тоже находят иногда мрачные мысли. И мне было бы очень тяжело изображать радость, которую я не испытываю.

– Правда, господин Родольф, и вам бывает грустно?

– Конечно, мое будущее нисколько не лучше вашего... У меня нет ни отца, ни матери... Стоит мне завтра заболеть, мне не на что будет жить. Ведь я расходую все, что зарабатываю.

– Вы совершаете ошибку, поверьте... большую ошибку, господин Родольф, – проговорила Певунья с явной укоризной, которая заставила его улыбнуться, – вам следовало бы класть деньги в сберегательную кассу... Все мое злосчастье произошло от того, что я не сэкономила денег... Имея в запасе двести франков, рабочий никогда не будет жить на чужой счет, никто не припрет его к стене... Безденежье нередко бывает дурным советчиком.

– То, что вы говорите, очень правильно, очень умно, моя маленькая хозяйшюшка. Однако двести франков... как сэкономить двести франков?

– Но, господин Родольф, это же проще простого: давайте подсчитаем, и вы убедитесь в этом... Вы зарабатываете иной раз до пяти франков в день, правда?

– Да, когда я работаю.

– Надо работать ежедневно. Неужели вам так уж плохо живется? У вас прекрасное ремесло... художник по раскраске вееров... Да такая работа должна быть для вас удовольствием... Право, вы неблагоприятны, господин Родольф, – прибавила Певунья строгим тоном. – Рабочий может жить, и хорошо жить, на три франка в день; таким образом, у вас будет ежедневно оставаться двадцать су, а в конце месяца наберется целых шестьдесят франков... Это же кругленькая сумма!

– Да, но так приятно прохлаждаться, бездельничать!

– Повторяю, господин Родольф, вы неблагоприятны, как ребенок...

– Хорошо, отныне я буду благодарен, маленькая ворчунья; вы дали мне превосходную мысль... Я не подумал об этом...

– В самом деле? – воскликнула девушка, радостно хлопая в ладоши. – Если бы вы знали, как вы меня обрадовали!.. Вы станете откладывать сорок су в день! Правда?

– Да... Я стану экономить сорок су в день, – сказал Родольф, улыбаясь помимо воли.

– Правда, правда?

– Обещаю вам...

– Вот увидите, как вы будете гордиться первыми отложенными деньгами... Но это еще не все... Только обещайте мне не сердиться.

– Разве у меня очень злой вид?

– Конечно нет... Но я не знаю, должна ли я...

– Вы должны говорить мне все без утайки, Лилия-Мария.

– Так вот... словом, вы, который... Сразу видно, что вы выше занимаемого вами положения... Почему же вы посещаете такие кабаки, как кабак Людоедки?

– Если бы я не пришел туда, я не имел бы удовольствия поехать за город вместе с вами, Лилия-Мария.

– Истинная правда, но дело не в этом, господин Родольф... Я бесконечно довольна сегодняшним днем и все же с легким сердцем откажусь поехать с вами еще раз, если это может вам повредить...

– Как раз наоборот, ведь вы даете мне такие великолепные советы.

– И вы последуете им?

– Честное слово, ведь я обещал вам. Да, я буду откладывать по меньшей мере сорок су в день...

## **Глава XI**

### **Пожелания**

Тут Родольф обратился к извозчику, миновавшему деревню Сарсель:

– Сверни вправо на первую же дорогу после селения Вилье-ле-Бель, затем влево, и поедешь все прямо, никуда не сворачивая.

– Теперь, когда вы довольны мной, Лилия-Мария, – сказал Родольф, – можно позабыться, как мы говорили недавно, и построить наши воздушные замки. Это стоит недорого, и вы не станете упрекать меня в мотовстве.



– Сверни вправо на первую же дорогу после селения Вилье-ле-Бель, затем влево, и поедешь все прямо, никуда не сворачивая.

- Нет, не стану... Давайте построим ваш воздушный замок.
- Сперва... ваш, Лилия-Мария.
- Посмотрим, угадаете ли вы, что мне по душе, господин Родольф.

- Попробую... Думаю, что эта дорога... я говорю «эта», потому что мы едем по ней...
- Правильно, не надо искать мой замок слишком далеко.
- Я полагаю, что эта дорога ведет к прелестной деревне, лежащей далеко от шоссе.
- Да, жить там будет гораздо спокойнее.
- Деревня расположена среди деревьев, на склоне холма.
- Рядом протекает маленькая речка.
- Вот именно... Маленькая речка... Сразу же за селом мы увидим хорошенькую ферму; с одной стороны дома – фруктовый сад, с другой – прекрасный цветник.
- Я так и вижу все это, господин Родольф.
- На первом этаже фермы имеется обширная кухня для батраков и столовая для фермерши.
- А на окнах дома – зеленые решетчатые ставни... они придают ему такой веселый вид, правда, господин Родольф?
- Зеленые ставни... Согласен с вами... Нет ничего милее зеленых ставень... Естественно, что фермерша доводится вам тетей.
- И конечно... она очень добрая женщина.
- Превосходная, и она полюбит вас как мать...
- Милая тетя!.. Как приятно, должно быть, когда тебя кто-нибудь любит.
- И вы тоже ее полюбите?
- О, – воскликнула Лилия-Мария, складывая руки и подымая глаза к небу с выражением неопишуемого счастья. – О да, я полюблю ее; я буду помогать ей во всем: шить, убирать белье, перебирать и складывать на зиму фрукты, вести хозяйство... Ей не придется жаловаться на мою лень, даю вам слово!.. Прежде всего утром...
- Погодите, Лилия-Мария... Какая же вы нетерпеливая!.. Дайте мне закончить описание дома.
- Продолжайте, продолжайте, господин художник, сразу видно, что вы привыкли рисовать красивые пейзажи на ваших веерах, – проговорила, смеясь, Певунья.
- Ну и болтушка... Дайте мне договорить...
- Вы правы: я болтаю; но это так занятно!.. Да, господин Родольф, я слушаю; кончайте же описание дома фермерши.
- Ваша спальня расположена на втором этаже.
- Моя спальня! Какое счастье! Посмотрим, посмотрим, какая она! – И молодая девушка, прижавшись к Родольфу, с любопытством широко открыла глаза.
- В вашей спальне два окна, которые выходят на разбитый в саду цветник и на луг, внизу которого течет маленькая речка; на противоположном берегу речки – холм, покрытый старыми каштанами, среди которых виднеется церковная колокольня.
- До чего все это красиво!.. До чего красиво, господин Родольф! Так и хочется побывать там.
- Три-четыре коровы пасутся на лугу, который отделен от сада изгородью из боярышника.
- А из моей спальни видны коровы?
- Как на ладони.
- Среди них будет одна, моя любимица, правда, господин Родольф? Я повешу ей на шею хорошенькие колокольчики и приучу есть из моих рук.
- Она не преминет сделать это. Она белая, без единого пятнышка, совсем еще молодая, и зовут ее Мюзеттой.
- Ах, какое красивое имя! Милая Мюзетта, я так ее полюблю!
- Закончим описание вашей спальни, Лилия-Мария; стены ее обиты тисненым полотном, а на окнах висят точно такие же занавески; выющиеся розы и ветви огромного куста жимолости

затеняют с этой стороны стену фермы и свешиваются над вашими окнами, так что по утрам вам стоит лишь протянуть руку, чтобы собрать прекрасный букет роз и жимолости.

– Ах, господин Родольф, какой вы замечательный художник!

– Посмотрим теперь, как вы проводите время на ферме!

– И как же?

– Ваша славная тетушка будит вас по утрам, нежно целуя в лоб; она приносит вам в кровать кружку парного молока, потому что, бедная девочка, у вас слабые легкие! Вы встаете, обходите ферму, здороваетесь с Мюзеттой, с курами, с вашими любимцами – голубями, с цветами, растущими в саду. В девять часов утра приходит ваш учитель.

– Мой учитель?

– Вы прекрасно понимаете, что вам надо научиться читать, писать и считать, чтобы помогать вашей тете вести приходо-расходные книги.

– Ваша правда, господин Родольф, а я и не подумала об этом... Конечно, мне необходимо научиться писать, чтобы помогать тете, – серьезно сказала бедная девочка, настолько поглощенная красочным описанием этой мирной жизни, что поверила в ее реальность.

– После вашего урока вы займетесь пересмотром и раскладкой белья или сядете вышивать хорошенький чепчик вроде тех, что носят здешние крестьянки. Часа в два пополудни вы приметесь за уроки, а затем пойдете с тетей на прогулку, летом посмотрите, как работают жнецы, а осенью – пахари; вы немного устанете и вернетесь домой с большой охапкой полевых трав для вашей любимой Мюзеты.

– Конечно, ведь обратно мы пройдем по лугу, правда, господин Родольф?

– Несомненно. Как раз в этом месте через речку перекинут деревянный мост... Когда вы вернетесь, будет, по-моему, часов шесть или семь; в это время в большой кухне фермы весело горит огонь; вы заходите туда, чтобы обогреться и побеседовать со славными людьми, которые ужинают там после пахоты. Затем вы сами поужинаете вместе с тетей. Иногда к вам присоединится приходский священник или кто-нибудь из старых друзей дома... После трапезы вы читаете или шьете. В то время как ваша тетя играет в карты. В десять часов она целует вас в лоб, и вы поднимаетесь к себе... А на следующий день все повторяется сызнова.

– Так можно прожить до ста лет и ни на минуту не соскучиться.

– Но это еще не все! А воскресенья, а другие праздники?

– Что же мы будем делать в эти дни, господин Родольф?

– Вы принарядитесь, наденете хорошенькое платье вроде тех, что носят здешние крестьянки, и один из тех прелестных круглых чепчиков, которые вам так к лицу, сядете в плетеную одноколку вместе с тетей и батраком Жаком и поедете к обедне в приходскую церковь; а летом будете присутствовать с тетей на храмовых праздниках всех окрестных сел. Вы такая нежная, милая, такая прекрасная хозяйшюка, ваша тетя так любит вас, а священник так хорошо о вас отзывается, что все парни будут приглашать вас танцевать, ведь именно так начинается здесь всякое сватовство... И не сегодня завтра какой-нибудь молодой человек понравится вам... И...

Удивленный молчанием Певуньи, Родольф взглянул на нее.

Бедная девочка с трудом сдерживала рыдания... Поверив ненадолго словам Родольфа, она позабыла о настоящем, а теперь поневоле вспомнила о нем; и контраст между настоящим и мечтой о спокойной, радостной жизни дал ей почувствовать весь ужас ее положения.

– Лилия-Мария, что с вами?

– Ах, господин Родольф, сами того не желая, вы очень огорчили меня... ведь я на минуту поверила в этот рай.

– Но, детка, он существует. Взгляните... Извозчик, останови...

Карета остановилась.

Певунья машинально подняла голову. Она находилась на вершине небольшого холма.

Каковы же были ее удивление, ее растерянность!..

Приглядное село на склоне холма, ферма, луг, прекрасные коровы, маленькая речка, каштановая роща, церковь вдалеке – картина, нарисованная Родольфом, была у нее перед глазами, вплоть до Мюзетты, красивой белой телки, будущей любимицы Певуньи...

Этот прелестный пейзаж был озарен ярким ноябрьским солнцем... Пурпурные и желтые листья каштанов еще не облетели и вырисовывались на лазури неба.

– Ну как, Лилия-Мария, разве я плохой художник? – проговорил Родольф, улыбаясь.

Певунья смотрела вокруг себя с удивлением, смешанным с беспокойством. То, что она видела, казалось ей чудом.

– Что это, господин Родольф? Боже мой, уж не грежу ли я?.. Мне даже страшно... Все, о чем вы говорили...

– Нет ничего проще, детка... Фермерша – моя кормилица, и на этой ферме я был взращен... Я написал сегодня рано утром кормилице, что приеду проведать ее; моя картина нарисована с натуры.

– Вы правы, господин Родольф, – сказала Певунья с глубоким вздохом.

## Глава XII

### Ферма

Ферма, куда Родольф привез Лилию-Марию, лежала за селом Букеваль, небольшим уединенным приходом, мало кому известным, окруженным полями, в двух лье от Экуена.

Следуя указаниям Родольфа, извозчик спустился по крутой дороге и свернул на длинную аллею, обсаженную яблонями и вишневыми деревьями. Карета бесшумно катила по мягкому, коротко стриженному газону, покрывающему большинство проселочных дорог.

Лилия-Мария, молчаливая, грустная, оставалась под тяжелым впечатлением, которое, сам того не желая, вызвал у нее Родольф, о чем он готов был пожалеть.

Через несколько минут карета, миновав широкий въезд во двор, проехала, по указанию Родольфа, вдоль густой шпалеры грабов и остановилась у простого деревянного крыльца, увитого виноградом, который осень окрасила в пурпур.

– Вот мы и приехали, Лилия-Мария, – сказал Родольф, – довольны вы?

– Да, господин Родольф... Но мне кажется, что я не посмею взглянуть на фермершу, мне будет стыдно перед ней...

– Почему, дитя мое?

– Вы правы, господин Родольф... она не знает меня.

И Певунья подавила вздох.

В доме, очевидно, ждали приезда Родольфа.

Как только извозчик открыл дверцу кареты, женщина лет пятидесяти, одетая как и все богатые фермерши парижских окрестностей, с лицом одновременно грустным, добрым и приветливым, спустилась с крыльца и поспешила навстречу Родольфу, почтительно и радостно приветствуя его.

Певунья покраснела до ушей и после минутного колебания вышла из кареты...

– Здравствуйте, моя милая госпожа Жорж, – сказал Родольф фермерше, – как видите, я точен.

Вложив затем деньги в руку кучеру, он сказал:

– Можешь возвращаться в Париж.

У извозчика, низкорослого, приземистого человека, шляпа была надвинута на глаза, а лицо почти скрыто подбитым мехом воротником длинного пальто; он положил деньги в карман, ничего не говоря, влез на козлы, стегнул лошадь и быстро скрылся в конце зеленой аллеи.

«После такой длинной дороги этот не сказавший ни слова извозчик что-то очень торопится уехать... – подумал Родольф. – Как? Всего два часа! Он, видно, хочет пораньше вернуться в Париж, чтобы сделать еще несколько ездов».

Однако Родольф не придавал никакого значения этой мелькнувшей у него мысли.

Лилия-Мария подошла к Родольфу и с видом смущенным, встревоженным, чуть ли не испуганным сказала ему, понизив голос, чтобы г-жа Жорж не услышала ее:

– Боже мой! Господин Родольф, простите меня... Вы отослали извозчика?.. А как же быть с Людоедкой? Увы, я обязана вернуться к ней сегодня вечером... иначе... она сочтет меня воровкой. Ведь все, что на мне надето, принадлежит ей... и я еще должна...

– Успокойтесь, детка, это мне надо просить у вас прощения...

– Вам, у меня?.. За что?

– За то, что я не сказал вам этого раньше: вы ничего не должны Людоедке... Вы можете сбросить эту мерзкую одежду и заменить ее той, которую вам предложит любезная госпожа Жорж. Вы с ней почти одного роста, и она с удовольствием даст вам что-нибудь из своего гардероба... Как видите, она уже входит в роль вашей тетушки.



*Ферма*

Лилии-Марии казалось, что все это сон; она попеременно смотрела на фермершу и на Родольфа, не веря своим ушам.

– Неужто я больше не вернусь в Париж? – молвила она голосом, дрожащим от волнения. – Я смогу остаться здесь? И госпожа Жорж разрешит мне?.. Значит, он возможен... тот воздушный замок, о котором мы только что говорили?

– Он перед вами, я имел в виду эту ферму.

– Нет, о нет! Это было бы слишком прекрасно... слишком хорошо.

– Никогда не бывает слишком хорошо, Лилия-Мария.

– О, сжалесь надо мной, господин Родольф... не обманывайте меня, мне было бы слишком больно...

– Дорогое дитя, верьте мне, – сказал Родольф по-прежнему ласково, но с оттенком горделивого достоинства, которое Лилия-Мария никогда не замечала у него, – да, если захотите, то начиная с сегодняшнего дня вы будете вести рядом с госпожой Жорж ту спокойную жизнь, описание которой только что привело вас в восторг... Хотя госпожа Жорж и не доводится вам тетушкой, она будет относиться к вам с самой нежной заботливостью; в глазах обитателей фермы вы будете считаться ее племянницей; эта небольшая ложь сделает более естественным ваше пребывание здесь... Повторяю... если вам этого хочется, Лилия-Мария, вы можете осуществить свою недавнюю мечту. Когда вы будете одеты как молоденькая фермерша, – продолжал Родольф, улыбаясь, – мы сводим вас к вашей любимице Мюзетте, хорошенькой белой телке, которая с нетерпением ждет обещанных вами колокольчиков. Мы поглядим также на ваших приятелей-голубей; я непременно хочу выполнить свое обещание.

Лилия-Мария крепко сжала руки. Удивление, радость, признательность, глубокое уважение отразились на ее прелестном личике; глаза ее наполнились слезами.

– Господин Родольф... – воскликнула она, – значит, вы ангел Господень, если делаете столько добра людям, не зная их, и спасаете несчастных от нищеты и позора!!!

– Мое бедное дитя, – ответил Родольф с улыбкой, в которой сквозила глубокая печаль и невыразимая доброта, – хотя я еще молод, но уже испытал много горя; этим и объясняется мое сострадание ко всем обездоленным, Лилия-Мария, или, лучше сказать, Мария. Да, пусть отныне ваше имя будет Мария, нежное и красивое, как вы сами. Ступайте теперь с госпожой Жорж, до моего отъезда мы еще поговорим с вами, и я покину вас очень счастливый... при мысли, что вы счастливы.

Лилия-Мария ничего не ответила, она преклонила колена, взяла руку Родольфа и, прежде нежели он успел ей помешать, почтительно поднесла ее к губам движением, исполненным изящества и скромности.

После чего она последовала за госпожой Жорж, которая смотрела на нее с глубоким сочувствием.

## Глава XIII

### Мэрф и Родольф

Родольф вышел во двор фермы, где он встретился с мужчиной высокого роста, который накануне, переодетый угольщиком, зашел предупредить его о прибытии Тома и Сары.

Мэрфу, так звали этого человека, было лет пятьдесят; седина посеребрила остатки его некогда рыжеватых волос, которые кудрявились по бокам почти голого черепа; полное розовое лицо было чисто выбрито, за исключением очень коротких рыжих бакенбард, которые, прикрывая уши, заканчивались полумесяцем на пухлых щеках. Несмотря на почтенный возраст и полноту, Мэрф был подвижен и крепок. Его физиономия, на первый взгляд флегматичная, говорила о характере одновременно доброжелательном и решительном. Он носил длинный черный сюртук с широкими фалдами, обширный жилет и белый галстук; зеленовато-серые штаны были из той же ткани, что и гетры на перламутровых пуговицах, не вполне доходившие до подвязок и позволявшие видеть дорожные чулки из некрашеной шерсти.

Одеждой и осанкой Мэрф являл законченный тип помещика-дворянина, как говорят англичане. Поспешим добавить, что он был англичанином и дворянином (эсквайром), но не фермером. В ту минуту, когда Родольф вошел во двор, Мэрф клал в специальное отделение небольшого дорожного экипажа пару только что вычищенных пистолетов.

– Зачем, к черту, ты взял эти пистолеты?

– Это касается только меня, монсеньор, – сказал Мэрф, спрыгивая с подножки. – Вы занимаетесь своими делами, а я – своими.

– На какое время ты заказал лошадей?

– Как вы приказали, они будут здесь с наступлением темноты.

– Ты приехал утром?

– В восемь часов. У госпожи Жорж было достаточно времени, чтобы все подготовить.

– Ты не в духе... Ты недоволен мной?

– Более чем недоволен... Гораздо более. Не сегодня завтра... Словом, вам грозит опасность... Дело идет о вашей жизни...

– Тебе не пристало так говорить! Дай тебе волю, ты один взял бы на себя весь риск и...

– Право, если бы вы делали добро, не рискуя жизнью, я не узрел бы в этом большой беды.

– Зато я не испытал бы столь большого удовольствия, дорогой Мэрф.

– Такой человек, как вы, и посещаете низкопробные таверны! – проговорил Мэрф, пожимая плечами.

– О, как это похоже на всех ваших Джонов Булей с их преклонением перед аристократией, воображающих, будто вельможи – люди иной породы, чем вы, несчастные бараны, гордящиеся своими мясниками!!!

– Будь вы англичанином, монсеньор, вы бы поняли это... люди чтят тех, кто им оказывает честь. Впрочем, кем бы я ни был, турком, китайцем или американцем, я все равно сказал бы, что вы напрасно рискуете жизнью таким образом. Вчера вечером, в гнусной улочке Сите, куда мы отправились с вами на поиски этого Краснорукого (чтоб ему пусто было), только опасение прогневить вас непослушанием помешало мне прийти вам на помощь в вашей драке с разбойником, которого вы нашли в этом вертепе.

– Иначе говоря, господин Мэрф, вы сомневаетесь в моей силе, в моем мужестве?

– К несчастью, вы много раз доказывали мне и силу свою, и мужество. Благодарение Богу, Крабб из Рамсгейта научил вас боксу; парижанин Лакур показал вам, как надо пользоваться шпагой, скрытой в трости, наносить удары ногами, и шутки ради обучил вас аргю; знаменитый Бертран преподавал вам фехтование, и в ваших поединках с мастерами этого дела вы нередко были победителем. Из пистолета вы убиваете ласточку на лету; у вас стальные мускулы;

несмотря на изящество и стройность, вы с такой же легкостью победили бы меня, с какой скаковая лошадь победила бы ломовую... Это правда...

Родольф не без удовольствия выслушал этот перечень своих гладиаторских качеств.

– Так чего же ты боишься? – спросил он с улыбкой.

– Я утверждаю, что вам не пристало вступать в драку с первым попавшимся мужланом. Я говорю это не из-за того, что считаю неприличным для некоего почтенного дворянина, моего знакомого, мазать себе лицо углем и походить в таком виде на черта... Несмотря на мою седину, дородность и степенность, я переоделся бы канатным плясуном, лишь бы сослужить вам службу, но от своих слов я не откажусь.

– О, я прекрасно знаю это, дорогой Мэрф. Когда какая-нибудь мысль засядет в твоей упрямой башке, когда преданность внедрится в твое стойкое и отважное сердце, самому дьяволу не вырвать их у тебя ни когтями, ни зубами.

– Вы льстите мне, монсеньор, вы замышляете какое-нибудь...

– Говори, не стесняйся.

– Какое-нибудь безрассудство, монсеньор.

– Мой бедный Мэрф, ты плохо выбрал время, чтобы читать мне нотации.

– Почему?

– Я переживаю как раз одну из редких минут счастья, гордости... Я приехал сюда...

– В местность, где вы сделали столько добра?

– Здесь я спасаюсь от твоих проповедей, это мое прибежище.

– Если так, то где же еще, черт возьми, я смогу вас пожуришь, монсеньор?

– По всему видно, Мэрф, что ты хочешь помешать моему новому безрассудству.

– Есть безрассудство и безрассудство, монсеньор, к некоторым из них я отношусь снисходительно.

– Например, к мотовству?

– Да, что ни говори, а имея миллиона два годового дохода...

– И вместе с тем иной раз мне не хватает денег, мой бедный друг.

– Кому вы это говорите, монсеньор?

– И все же бывают радости, трепетные, чистые, глубокие, которые вдобавок недорого стоят! Какое чувство можно сравнить с тем, что я испытал, когда эта обездоленная девушка, увидев себя здесь, где ничто не грозит ей, в порыве благодарности поцеловала мне руку? Это еще не все; мое счастье не кончится на этом: завтра, послезавтра и еще долгие дни я буду с наслаждением думать о том, что чувствует эта бедная девочка, просыпаясь утром в своем спокойном убежище, под одной крышей с такой превосходной женщиной, как госпожа Жорж, которая нежно полюбит ее, ибо несчастье сближает людей.

– О, что касается госпожи Жорж, никогда еще ваши добрые дела не находили лучшего применения. Благородная, мужественная женщина!.. Ангел, сущий ангел по своей редкой добродетели! Меня нелегко растрогать, но несчастья госпожи Жорж растрогали меня... Зато ваша новая протеза... Впрочем, не будем говорить об этом, монсеньор.

– Почему, Мэрф?

– Монсеньор, поступайте как вам заблагорассудится...

– Я делаю то, что хорошо и справедливо, – проговорил Родольф с оттенком нетерпения.

– Справедливо... по вашему мнению.

– Справедливо перед Богом и перед моей совестью, – строго заметил Родольф.

– Простите, монсеньор, но мы все равно не пойдем друг друга. Повторяю, не стоит больше говорить об этом.

– А я приказываю вам говорить, – повелительно воскликнул Родольф.

– Еще ни разу не случилось, монсеньор, чтобы вы приказывали мне молчать; надеюсь, что на этот раз вы не прикажете мне говорить, – гордо ответил Мэрф.

– Сударь!!! – воскликнул Родольф.

– Монсеньор!!!

– Вам известно, сударь, что я не терплю недомолвок.

– А если, на мой взгляд, они необходимы, – резко возразил Мэрф.

– Так знайте же, сударь, я снисхожу до фамильярности с вами, но при одном условии: вы обязаны возвыситься до откровенности со мной.

Невозможно описать выражение крайнего высокомерия, отразившегося на лице Родольфа при этих словах.

– Монсеньор, мне пятьдесят лет, я дворянин; вам не пристало так разговаривать со мной.

– Замолчите!

– Монсеньор!

– Замолчите!

– Монсеньор, негоже принуждать великодушного человека вспоминать об оказанных им услугах.

– Твои услуги? Разве я не оплачиваю их всеми возможными способами?

Надо сказать, что Родольф не приписывал этим жестоким словам того унижительного смысла, который усмотрел в них Мэрф из-за своего подневольного положения; к несчастью, именно так он истолковал их. Лицо Мэрфа побагровело от стыда, и он поднес сжатые кулаки ко лбу с выражением горестного возмущения; но тут настроение его резко изменилось, и, бросив взгляд на Родольфа, благородное лицо которого было искажено чувством гневного презрения, он подавил вздох, посмотрел на молодого человека с ласковым состраданием и сказал ему взволнованно:

– Монсеньор, опомнитесь!.. Вы неблагоразумны!..

Эти слова окончательно вывели из себя Родольфа; глаза его дико сверкнули, губы побелели, и он подошел к Мэрфу, угрожающе подняв руку.

– Как ты смеешь?! – воскликнул он.

Мэрф отступил на шаг и проговорил скороговоркой, как бы помимо воли:

– Монсеньор, монсеньор, *вспомните о тринадцатом января!*

Эти слова оказали поразительное действие на Родольфа. Его лицо, искаженное гневом, разгладилось. Он пристально взглянул на Мэрфа, опустил голову и после минутного молчания прошептал изменившимся голосом:

– Ах, сударь, как вы жестоки... я полагал, однако, что мое раскаяние, мои угрызения совести!.. И это вы!.. Вы!..

Родольф не закончил фразы, его голос прервался; он опустился на каменную скамью и закрыл лицо руками.

– Монсеньор, – воскликнул Мэрф в отчаянии, – мой добрый господин, простите вашего старого преданного Мэрфа! Только доведенный до крайности и опасаясь, увы, не за себя... а за вас... последствий вашей горячности, я сказал без гнева, без упрека, сказал помимо воли и с чувством сострадания... Монсеньор, я был неправ, что обиделся. Боже мой, кому лучше знать ваш характер, как не мне, человеку, который всегда был при вас с самого вашего детства!.. Умоляю, скажите, что прощаете меня за то, что напомнил вам об этом роковом дне... Увы... Чего вы только не делали, дабы искупить...

Родольф поднял голову; он был очень бледен.

– Замолчи, замолчи, старый друг, – сказал он грустно и мягко своему давнему спутнику, – я благодарен тебе, что одним словом ты утишил мою гневную вспышку; я не стану просить прощения за дерзости, которые тебе наговорил: ты сам знаешь, что «от сердца до уст далеко», как говорят добрые люди в нашем краю. Я был не в себе, позабудем об этом.

– Увы! Теперь вы долго будете грустить... Какой же я дурак!.. Больше всего на свете мне хочется, чтобы ваше мрачное настроение развеялось... А я снова вызываю его своей глупой

обидчивостью! Бог ты мой! Какой толк быть честным человеком с седеющей головой, если ты не умеешь терпеливо сносить незаслуженные упреки. Так нет же, – продолжал Мэрф с волнением, тем более комичным, что оно не вязалось с его обычным спокойствием, – так нет же, мне, видите ли, требуется, чтобы меня хвалили с утра до ночи, чтобы мне повторяли: «Господин Мэрф лучший из слуг; господин Мэрф, вы замечательный человек; боже, как он хорош собой, господин Мэрф, нет и не бывало преданности, равной вашей, славный Мэрф!» Полно, старый попугай, тебе, значит, требуется, чтобы кто-то беспрестанно гладил твою старую голову.

Вспомнив затем о ласковых словах, сказанных ему Родольфом в начале беседы, он воскликнул с еще большим пылом:

– Сам же он назвал меня своим хорошим, старым, верным Мэрфом!.. А я, словно какой-нибудь мужлан, из-за его невольной вспышки!.. Черт возьми!.. Я готов выдрать себе волосы.

И достойный джентльмен поднес руки к вискам.

Эти слова и жесты Мэрфа доказывали, что отчаяние его достигло предела. К несчастью или к счастью для Мэрфа, он был почти совсем лыс, и покусение на свою шевелюру ничем ему не грозило, о чем он искренне сожалел, ибо когда слова сменялись делом, то есть когда его скрюченные пальцы встречали лишь гладкую, блестящую, как мрамор, поверхность черепа, достойный эсквайр был смущен и пристыжен, считая себя хвастуном, бахвалом из-за проявленного им самомнения. Поспешим сказать в оправдание Мэрфа, что у него была некогда самая густая, самая золотистая шевелюра, когда-либо украшавшая голову йоркширского дворянина.

Разочарование Мэрфа по поводу отсутствия его шевелюры обычно забавляло Родольфа. Но в эту минуту его мысли были серьезны, горестны. Не желая, однако, усугублять раскаяние своего спутника, он сказал ему с мягкой улыбкой:

– Послушай, мой славный Мэрф, ты как будто превозносил до небес то доброе, которое я сделал госпоже Жорж...

– Монсеньор...

– Но тебя удивляет мой интерес к этой бедной погибшей девушке?

– Монсеньор, умоляю вас... Я был не прав... не прав...

– Нет... Я понимаю, первое впечатление могло обмануть тебя... Но поскольку ты знаешь всю мою жизнь, поскольку помогаешь мне с редкой преданностью, с редким мужеством выполнить задачу, которую я возложил на себя, я обязан по велению долга или, если хочешь, из чувства благодарности объяснить тебе, что не поступаю легкомысленно.

– Мне ли не знать этого, монсеньор!

– Тебе известны мои мысли о том добре, что может делать человек. Выручать порядочных людей, которые жалуются на свою долю, – хорошо. Разузнавать о тех, кто честно, мужественно ведет битву с жизнью, и приходить им на помощь, иной раз без их ведома... вовремя предупредить нищету и соблазн, ведущие к преступлению... еще лучше. Обелять в их собственных глазах и возвращать к честной, достойной жизни тех, кто сумел сохранить великодушные чувства среди унижительного презрения, гнетущей нищеты и окружающей испорченности, и ради этого смело входить в соприкосновение с нищетой, испорченностью и грязью... лучше всего. Преследовать непримиримой ненавистью, неумолимым возмездием порок, подлость, преступление, ползают ли они в грязи или купаются в роскоши, – не что иное, как акт справедливости... Но слепо помогать заслуженной нищете, позорить, осквернять милосердие и жалость, профанировать сочувствие и подаяние – благих, целомудренных утешительниц моей израненной души... и дарить их людям недостойным, бесчестным было бы отвратительно, постыдно, кощунственно. Это значило бы порождать сомнение в существовании Бога, а дающий должен пробуждать веру в Него.

– Монсеньор, я вовсе не хотел сказать, что вы облагодетельствовали кого-нибудь недостойного.

– Еще одно слово, мой старый друг. Госпожа Жорж и несчастная девушка, которую я поручил ее попечению, вышли из двух противоположных миров, но обе очутились в бездне злосчастья. Жизнь одной из них, счастливой, богатой, любимой, уважаемой, наделенной всеми добродетелями, была растоптана, загублена лицемерным негодяем, за которого ее выдали недалёковидные родители... Я говорю с радостью, что без меня эта несчастная женщина погибла бы в нищете, ибо стыд мешал ей просить о помощи.

– Ах, монсеньор, когда мы поднялись на ее мансарду, какую мы увидели там страшную нищету! Это было ужасно, ужасно!.. И когда после долгой болезни она, так сказать, пришла в себя здесь, в этом спокойном доме, каково же было ее удивление, ее благодарность! Вы правы, монсеньор, помощь, оказываемая людям, попавшим в такую горькую беду, внушает веру в Бога.

– И помогать им – значит почитать Его! Да, согласен, нет ничего более возвышенного, чем мудрая и спокойная добродетель, нет никого более достойного уважения, чем такая женщина, как госпожа Жорж. Воспитанная доброй и благоразумной матерью в разумном соблюдении своих обязанностей, она ни разу не нарушила его... ни разу!!! И мужественно прошла через самые тяжкие испытания. Разве не славим мы Всевышнего во всей Его благодати, спасая от разврата одну из редких натур, которых Ему было угодно наделить многими качествами?.. Не заслуживает ли жалости, интереса, уважения... да, уважения, эта несчастная девочка, которая, предоставленная самой себе, истерзанная, заключенная в тюрьму, униженная и поруганная, свято сохранила в глубине сердца ростки добра, заложенные в нее Богом? Если бы ты слышал бедняжку... при первом выражении сочувствия с моей стороны, как первом дружеском сердечном слове, обращенном к ней, лучшие свойства, тончайшие чувства, самые поэтичные и чистые помыслы пробудились в ее простодушной душе наподобие того, как весной множество полевых цветов произвольно распускается на лугах, пригретых солнцем! Во время часовой беседы с Лилией-Марией я открыл в ней сокровище доброты, деликатности, мудрости, мой дорогой Мэрф. Улыбка тронула мои губы, а слезы навернулись на глаза, когда среди своей пленительной и разумной болтовни она доказывала мне необходимость откладывать по сорок су в день, чтобы уберечь себя от нужды и дурных соблазнов. Бедная крошка! Она говорила все это таким серьезным, убежденным голосом; она была так искренне довольна, что дает мне хороший совет, и так искренне обрадовалась, когда я обещал слушаться ее!.. Я был тронут, уверяю тебя, тронут до слез, я уже говорил тебе об этом... А меня еще обвиняют в том, что я человек пресыщенный, черствый, непреклонный... О нет, нет! Слава богу, я еще чувствую иногда, как бурно, горячо бьется мое сердце... Но ты сам растроган, мой старый друг... Право, Лилии-Марии не придется ревновать тебя к госпоже Жорж, ее участь не оставит тебя безразличным.

– Ваша правда, монсеньор... Эта просьба о том, чтобы вы откладывали по сорок су в день – ведь она думала, что вы рабочий, вместо того чтобы выпрашивать их для себя... да, эта просьба тронула меня, быть может, больше, чем следовало бы.

– Стоит мне подумать, что у этой девочки, как говорят, есть мать, богатая, уважаемая, которая бессовестно бросила ее... О, если это так – надеюсь, я узнаю правду и все расскажу тебе. О, если это так... горе... горе этой женщине! Ее ждет грозное возмездие... Мэрф, Мэрф... я еще никогда не чувствовал такой беспощадной ненависти, как при мысли об этой незнакомке. Ты же знаешь, Мэрф, знаешь... иная месть дорога моему сердцу... иная боль драгоценна мне... я жажду иных слез!

– Увы, монсеньор, – проговорил Мэрф, огорченный выражением сатанинской злобы, искажившей при этих словах черты Родольфа, – я знаю, что люди, заслуживающие внимания и участия, часто говорят о вас: «Так, значит, он добрый ангел!» Зато другие, заслуживающие презрения и ненависти, восклицают, проклиная вас в порыве отчаяния: «Так, значит, он демон!..»

– Тише, сюда идут госпожа Жорж с Марией... Распорядитесь, чтобы все было готово к нашему отъезду: мне надо пораньше быть в Париже.

## Глава XIV

### Расставание

Благодаря стараниям г-жи Жорж Марию (так мы будем называть отныне Певунью) нельзя было узнать.

Хорошенький круглый чепчик, какие носят местные крестьянки, и причесанные на пробор густые белокурые волосы обрамляли ее девственное личико. Большой шейный платок из белого муслина скрещивался у нее на груди и уходил под высокий квадратный нагрудник фар-тучка из переливчатой тафты, голубые и розовые отсветы которой падали на коричневое платье, словно сшитое по ней.

Личико девушки было сосредоточенно, ибо большое счастье погружает иные натуры в невыразимую грусть, в светлую меланхолию.

Родольфа не удивила задумчивость Марии. Появись она веселая, болтливая, у него сложилось бы менее высокое мнение о ней.

С присущим ему тактом он не сказал ни одного лестного слова Марии, хотя она и блистала красотой.

Родольф чувствовал нечто торжественное, священное в возрождении этой души, вырванной у порока.

Госпожа Жорж, на серьезном лице которой лежал отпечаток долгих страданий и покорности судьбе, смотрела на Марию со снисходительностью и чуть ли не материнской нежностью: так пришлось ей по душе мягкость и изящество этой девушки.

– Вот и моя детка... Она пришла поблагодарить вас за все, что вы для нее сделали, – проговорила г-жа Жорж, подводя Певунью к Родольфу.

При слове «детка» Певунья медленно подняла большие голубые глаза на свою покровительницу и посмотрела на нее с чувством неизъяснимой благодарности.

– Спасибо вам за Марию, дорогая госпожа Жорж, она заслуживает вашей нежной заботливости... да и всегда будет достойна ее.

– Господин Родольф, – проговорила Певунья дрожащим голосом, – вы поймете, не правда ли, что я не нахожу слов...

– Ваше волнение мне и так все сказало, Мария...

– О, она и сама понимает, что должна благодарить Провидение за ниспосланное ей счастье, – растроганно молвила г-жа Жорж. – Когда она вошла в мою спальню, ее первым побуждением было броситься на колени перед распятием.

– Ведь теперь благодаря вам, господин Родольф, я смею молиться, – проговорила Мария, смотря на своего покровителя.

Мэрф резко отвернулся: английская невозмутимость не позволяла ему показать, насколько он тронут этими простыми словами Марии.

– Дитя мое, – сказал Родольф, – мне надо побеседовать с госпожой Жорж... Мой друг Мэрф ходит с вами на ферму... и познакомит вас с вашими будущими питомцами... Скоро и мы присоединимся к вам... Мэрф!.. Мэрф! Ты что, не слышишь меня?

Достойный джентльмен стоял в эту минуту спиной к Родольфу и притворялся, что громко сморкается; он спрятал платок в карман, надвинул на глаза шляпу и, наполовину обернувшись к Марии, подал ей руку. Мэрф так искусно проделал все это, что ни Родольф, ни г-жа Жорж не увидели его лица. Затем, держа под руку молодую девушку, он быстро зашагал к зданию фермы, и Певунье пришлось бежать за ним, как она бегала в детстве за Сычихой.

– Так что же вы думаете о Марии, госпожа Жорж?

– Я уже говорила вам, господин Родольф, что, войдя в мою спальню, она поспешно преклонила колени перед висящим у меня распятием... Не могу выразить, сколько было непосред-

ственности, подлинного религиозного чувства в этом поступке... Я сразу поняла, что душа ее осталась чиста... И, кроме того, в благодарности Марии нет ничего искусственного... выпренного; вот почему ее чувство кажется особенно искренним. Приведу еще один пример, который покажет вам, что ей присуще глубокое религиозное чувство. «Вы были, вероятно, поражены и очень счастливы, когда господин Родольф сказал, что вы останетесь здесь?.. Какое впечатление его слова произвели на вас?» – «О, когда господин Родольф сказал мне это, я сама не знаю, что случилось со мной; я почувствовала нечто вроде священного трепета, благоговейной радости, как прежде, при входе в церковь... когда я смела туда входить, – прибавила она, – ведь вам известно, сударыня...» Я не позволила ей продолжать, видя, что лицо покрылось краской стыда: «Я знаю, дитя мое, я всегда буду называть вас так... Я знаю, что вы много выстрадали, детка, но Бог благословляет тех, кто любит и страшится Его, тех, кто несчастлив и раскаялся...»



– Я уже говорила вам, господин Родольф, что, войдя в мою спальню, она поспешно преклонила колени перед висящим у меня распятием...

– Ну что же, милая госпожа Жорж, я вдвойне доволен тем, что сделал. Со временем эта бедная девушка еще больше расположит вас к себе... вы правильно угадали: задатки у нее превосходные.

– Вот что еще тронуло меня, господин Родольф: она не задала мне ни одного вопроса о вас, хотя любопытство ее, конечно, было возбуждено. Меня поразила ее сдержанность, деликатность, и мне захотелось понять, насколько непосредственно такое поведение. «Вам, наверно, интересно узнать, кто такой ваш таинственный благодетель?» – «Я знаю... – ответила она с прелестной наивностью: – Он зовется моим благодетелем».

– Так, значит, вы полюбите ее, великодушная женщина? Вам будет приятно ее общество, и она займет уголок в вашем сердце...

– Во всяком случае, я буду заботиться о ней... как заботилась бы... о нем, – сокрушенно проговорила г-жа Жорж.

Родольф взял ее за руку.

– Полно, полно, еще рано отчаиваться... Если до сих пор мои поиски не увенчались успехом, быть может, в один прекрасный день...

Госпожа Жорж печально покачала головой.

– Моему несчастному сыну исполнилось бы теперь двадцать лет, – проговорила она с горечью.

– Скажите лучше, что ему исполнилось двадцать...

– Да услышит вас Бог, господин Родольф!

– Он услышит меня... я твердо верю в это... Вчера я ходил на поиски (правда, напрасные) некоего пройдохи, прозванного Красноруким, который, как мне говорили, кое-что знает о вашем сыне. По выходе из дома, где живет Краснорукий, мне пришлось вступить в драку, благодаря которой я и встретил эту несчастную девушку.

– Ну что же... по крайней мере ваше желание мне помочь навело вас на след нового злосчастья, господин Родольф.

– Впрочем, мне давно хотелось исследовать категорию отверженных людей... Я был почти уверен, что среди них найдутся души, которые можно вырвать у старика Сатаны, – сказал с улыбкой Родольф, – я забавляюсь, идя наперекор его козням, и иной раз мне удастся похитить лучшую его добычу.

И, перейдя на более серьезный тон, Родольф спросил:

– Никаких сведений из Рошфора?

– Никаких... – ответила г-жа Жорж тихо, с дрожью в голосе.

– Тем лучше!.. Теперь уже можно не сомневаться, что этот изверг погиб в каком-нибудь болоте при попытке к бегству. Его приметы широко известны... он опасный преступник, и, конечно, все средства были пущены в ход, чтобы разыскать его; ведь прошло уже полгода с тех пор, как он исчез с ка...

Родольф умолк, не решаясь произнести это страшное слово.

– С каторги!.. Хотите вы сказать... с каторги! – воскликнула как потерянная несчастная женщина. – И этот человек – отец моего сына!.. О, если мой бедный ребенок еще жив... если он по моему примеру не переменял фамилии... Какой это стыд для него... какой стыд! Но это еще пустяки... Ведь отец его мог исполнить свою чудовищную угрозу... Ах, господин Родольф, простите меня, но, невзирая на все ваши благодеяния, я чувствую себя очень несчастной.

– Успокойтесь, прошу вас.

– Иной раз мне мерещатся всякие ужасы. Мне чудится, что мужу удалось сбежать из Рошфора, что он цел и невредим, что он ищет меня, хочет убить, как убил, быть может, нашего сына. Ума не приложу, что он мог с ним сделать!

– Эта тайна давно гложет меня, – задумчиво проговорил Родольф. – Для чего этот подлец взял с собой вашего сына, когда пятнадцать лет тому назад он пытался, по вашим словам, перебраться через французскую границу. Маленький ребенок мог только помешать его бегству.

– Увы, господин Родольф, когда мой муж, – несчастная женщина вздрогнула, произнеся это слово, – был арестован на границе, привезен в Париж и брошен в тюрьму, я получила разрешение на свидание с ним. Тогда-то он и произнес эти страшные слова: «Я похитил твоего сына потому, что ты любишь его; таким образом я заставляю тебя посылать мне деньги, которые будут, а может, и не будут истрачены на него... это уже моя забота... Останется ли он в живых или нет – не важно... Но если он выживет, то окажется в руках такого человека, что стыд за сына падет на твою голову, как уже пал на нее стыд за его отца...» И вот месяц спустя мой муж был приговорен к пожизненной каторге... С тех пор все просьбы, мольбы, обращенные в моих письмах к мужу, были тщетны; я так ничего и не узнала о судьбе моего мальчика... Ах, господин Родольф, где теперь мой сын? Мне то и дело вспоминаются чудовищные слова, сказанные мужем: «Стыд за сына падет на твою голову, как уже пал на нее стыд за его отца!»

– Но злодеяние бессмысленно; зачем было развращать, растлевать несчастного ребенка? И главное, зачем отнимать его у вас?

– Я уже говорила вам об этом, господин Родольф, чтобы вынудить меня посылать ему деньги; хотя он и разорил нас с сыном, у меня еще оставались кое-какие средства, которые он и выманивал у меня таким способом. Прекрасно зная его подлость, я все же не могла поверить, чтобы хоть часть этих денег не пошла на воспитание бедного мальчика.

– А у вашего сына не было никакого отличительного признака, никакой вещицы, которые помогли бы установить его личность?

– Ничего, господин Родольф, кроме крошечного скульптурного изображения Святого Духа из лазурита, которое он носил на серебряной цепочке; эта реликвия, освященная самим святейшим отцом, принадлежала моей матери, которая очень чтит ее; я тоже носила ее; потом повесила этот талисман на шею моему сыну. Увы, он потерял свою чудодейственную силу.

– Как знать! Мужайтесь, несчастная мать: Бог всемогущ.

– Да, Провидение послало мне вас, господин Родольф.

– Слишком поздно, милая госпожа Жорж, слишком поздно. Раньше я сумел бы, возможно, избавить вас от долгих лет скорби...

– Ах, господин Родольф, вы и так меня осчастливили.

– Чем же? Я купил у вас эту ферму. В дни вашего благоденствия вам нравилось совершенствовать и украшать свои владения; затем вы согласились стать моим управляющим; благодаря вашим стараниям, вашей деловитости ферма приносит мне доход...

– Приносит вам доход, сударь? – переспросила г-жа Жорж, прерывая Родольфа. – Ведь я сама отдаю арендную плату нашему славному аббату Лапорту, а он по вашему приказанию раздает ее нуждающимся.

– Ну что же, разве это не превосходное употребление денег? Но скажите, вы предупредили нашего милого аббата о моем приезде? Я непременно хочу поручить ему мою протекцию. Он получил мое письмо?

– Господин Мэрф отнес ему письмо сегодня утром, как только приехал на ферму.

– В этом письме я рассказал в нескольких словах вашему славному священнику историю этой бедной девочки; я не был уверен, что сумею приехать к вам сегодня. В этом случае Мэрф привез бы вам Марию.

Пододошедший батрак прервал эту беседу, происходившую в саду.

– Сударыня, его преподобие ожидает вас.

– Скажи, парень, а почтовые лошади прибыли?

– Да, господин Родольф, уже запрягают.

И батрак вышел из сада.

Госпожа Жорж, священник и все жители фермы знали покровителя Марии лишь под именем Родольфа. Мэрф хранил гробовое молчание насчет своего бывшего питомца; правда, он всегда титуловал его с глазу на глаз, зато при посторонних называл его не иначе как г-ном Родольфом.

– Я забыл предупредить вас, дорогая госпожа Жорж, – сказал Родольф, когда они возвращались на ферму, – по-моему, у Марии слабые легкие. Лишения, нищета подорвали ее здоровье. Сегодня утром, при дневном свете, я был поражен ее бледностью, хотя на щеках ее играл яркий румянец; мне показалось также, что глаза у нее лихорадочно блестят... ей потребуется заботливый уход.

– Можете рассчитывать на меня, господин Родольф. Слава Богу, у нее нет ничего серьезного... В этом возрасте... она быстро поправится в деревне, на свежем воздухе, отдых и счастье тоже сделают свое дело.

– Согласен с вами... но я не особенно доверяю вашим деревенским врачам... Я скажу Мэрфу, чтобы он привез сюда моего доктора – негра... он превосходный врач и назначит пациентке тот режим, в котором она нуждается... Вы часто будете осведомлять меня о здоровье Марии... Немного спустя, когда она успокоится и окрепнет, мы подумаем о ее будущем... Быть может, для нее лучше всего было бы остаться с вами... если она придется вам по сердцу.

– Таково и мое желание, господин Родольф. Она заменит мне ребенка, которого я неустанно оплакиваю.

– Ну что ж, будем надеяться на счастливый исход... для вас и для нее.

Когда Родольф с г-жой Жорж приближались к дому, Мэрф и Мария подходили к нему с другой стороны.

Мария была оживленна после прогулки. Родольф обратил внимание г-жи Жорж на два ярких пятна, рдевших на щеках молодой девушки, которые резко выделялись на нежной белизне ее кожи.

Достойный джентльмен, оставив Певунью, подошел со смущенным видом к Родольфу и сказал ему на ухо:

– Эта девушка околдовала меня; не знаю теперь, кто из них мне больше нравится – она или госпожа Жорж... Я был скотиной, болваном.

– Только не вырывай себе волосы из-за этого, старый друг, – сказал Родольф и с улыбкой пожал руку эсквайра.

Опираясь на Марию, г-жа Жорж вошла в маленькую гостиную, в первом этаже своего дома, где ее ожидал аббат Лапорт.

Мэрф отлучился, чтобы распорядиться об отъезде.

Госпожа Жорж, Мария, Родольф и священник остались одни.

Стены и мебель этой простой и уютной гостиной были обиты тисненым полотном, как, впрочем, и остальные комнаты дома, точно описанного Родольфом во время его поездки с Певуньей.

Толстый ковер лежал на полу, огонь пылал в камине, и два огромных букета китайских астр всевозможной расцветки стояли в двух хрустальных вазах, распространяя вокруг себя легкий бальзамический аромат.

Сквозь полузакрытые решетчатые ставни были видны луг, маленькая речка и холм, поросший каштанами.

Аббату Лапорту, сидевшему у камина, перевалило за восемьдесят, и после революции он стал настоятелем этого бедного прихода.

Трудно было встретить более почтенную внешность, чем у этого аббата с его старческим, исхудавшим и болезненным лицом в рамке длинных седых волос, которые падали на воротник его черной, кое-где заплатанной сутаны; по словам аббата, лучше отдать хорошее, теплое сукно двум-трем неимущим детям, чем разыгрывать из себя щеголя, иными словами, чем менять сутаны каждые два-три года.

Добрый аббат был очень стар, так стар, что его руки вечно дрожали, и иной раз, когда в разговоре он поднимал их, можно было подумать, что он благословляет свою паству.

Родольф с интересом наблюдал за Марией.

Если бы он хуже знал ее, или, точнее, хуже разгадал ее душу, он был бы, вероятно, удивлен тем благоговейным спокойствием, с которым она подошла к священнику.

Тонкое чутье Марии подсказало ей, что стыд кончается там, где начинаются раскаяние и искупление.

– Ваше преподобие, – почтительно сказал Родольф, – госпожа Жорж согласилась взять на попечение эту юную девушку... для которой я хочу испросить и вашего благосклонного внимания.

– Она имеет на него право, сударь, как и все те, кто прибегает к нам. Милосердие Бога неистоимо, мое дорогое дитя! Он доказал вам это, не покинув вас в ваших горьких испытаниях... Мне все известно. – И он взял руку Марии в свои дрожащие старческие руки. – Великодушный человек, спасший вас от гибели, исполнил слово Писания, гласящее: «Господь печется о тех, кто призывает Его; Он услышит их стоны и спасет их». А теперь постарайтесь заслужить своим поведением милосердие Господне. Я же всегда буду рад подбодрить, поддерживать вас... на той благой стезе, на которую вы вступили. У вас перед глазами неизменно будет назидательный пример госпожи Жорж... А во мне вы найдете внимательного советчика... Господь завершит свое дело...

– Я буду молиться за тех, кто пожалел меня и привел к Богу, отец мой... – сказала Певунья.

И почти непроизвольно она опустилась на колени перед священником. Рыдания душили ее.

Госпожа Жорж, Родольф и аббат были глубоко растроганы.

– Дорогое дитя, – сказал священник, – вы скоро заслужите отпущение грехов, ибо являетесь скорее жертвой, нежели грешницей. Как сказал пророк: «Господь поддерживает тех, кто готов пасть, и поднимает тех, кто повержен».

– Прощайте, Мария, – сказал Родольф, вручая девушке маленький золотой крестик на черной бархотке. – Сохраните его на память обо мне; сегодня утром я велел выгравировать на нем число этого дня – дня вашего освобождения... вашего искупления. Скоро я приеду навестить вас.

Мария поднесла крестик к губам.

В эту минуту Мэрф открыл дверь в гостиную.

– Господин Родольф, – сказал он, – экипаж подан.

– Прощайте, отец мой... прощайте, милая госпожа Жорж... Я вверяю вам ваше дитя или, точнее, наше дитя. Еще раз прощайте, Мария.

Опираясь на г-жу Жорж и на Певунью, которые направляли его неверные шаги, почтенный аббат вышел из гостиной, чтобы проводить Родольфа.

Последние лучи солнца ярко освещали эту примечательную и скорбную группу.

Престарелого священника, олицетворяющего милосердие, прощение и вечную надежду...

Женщину, испытавшую все несчастья, какие могут поразить жену и мать.

Юную девушку, едва вышедшую из детского возраста, которую нищенство и гнусная преступная среда толкнули некогда в омут порока.

Родольф сел в коляску, Мэрф поместился рядом с ним...  
Лошади тронули и помчались во весь опор.



*И почти непроизвольно она опустилась на колени перед священником. Рыдания душили ее.*

## Глава XV

### Свидание

Поручив Певунью заботам г-жи Жорж, Родольф, все так же одетый по-рабочему, стоял в полдень следующего дня у двери кабака «Корзина цветов», расположенного неподалеку от заставы Берси.

Накануне, в десять часов вечера, Поножовщик пришел на свиданье, назначенное ему Родольфом. Читатель узнает из продолжения этого рассказа о результате их встречи.

Итак, был полдень, дождь лил как из ведра; вода в Сене, вздувшейся от непрерывных дождей, сильно поднялась и залила половину набережной.

Время от времени Родольф нетерпеливо посматривал в сторону заставы; наконец, увидев вдалеке мужчину и женщину под зонтом, он узнал Сычиху и Грамотея.

Оба они преобразились; разбойник отказался от своего отрепья и от выражения зверской жестокости; на нем был длинный редингот из зеленого касторина, на голове – круглая шляпа; его галстук и рубашка поражали безупречной белизной. Если бы не отталкивающее безобразие черт лица и не хищный блеск жгучих бегающих глазок, его можно было бы принять, судя по спокойной, уверенной походке, за добропорядочного буржуа.

Одноглазая тоже прифрантилась, надела белый чепчик и большую шаль из шелковых охлопков, подделку под кашемировую; в руке она держала объемистую корзину.

Дождь внезапно прекратился. Родольф превозмог чувство гадливости и двинулся навстречу отвратительной супружеской паре.

Грамотей сменил кабацкое арго на чуть ли не изысканный язык, который, свидетельствуя об образованности этого человека, до странности не вязался с его похвальбой своими кровавыми подвигами.

При приближении Родольфа Грамотей отвесил ему глубокий поклон; Сычиха сделала реверанс.

– Сударь... я ваш покорнейший слуга... – сказал Грамотей. – Разрешите засвидетельствовать вам мое почтение, весьма рад познакомиться... Или, точнее, возобновить знакомство... ибо позавчера вы почтили меня двумя ударами кулака, способными убить носорога... Но пока что не стоит говорить об этом; то была шутка с вашей стороны... уверен, простая шутка... позабудем о ней... Зато серьезные интересы объединяют нас. Вчера вечером, в одиннадцать часов, я встретился в кабаке с Поножовщиком; я назначил ему свидание здесь на тот случай, если он пожелает быть нашим сотрудником, но он, видимо, наотрез отказался от этого дела.

– А вы-то согласны?

– Если вам угодно, господин... Ваше имя?

– Родольф.

– Господин Родольф... мы зашли бы в «Корзину цветов»... ни я, ни моя супруга еще не завтракали... Мы побеседуем о наших делишках и кстати заморим червячка.

– Охотно.

– По дороге можно будет перекинуться несколькими словами. Не в упрек вам будь сказано, вы с Поножовщиком должны возместить мне и моей жене понесенные нами убытки. Из-за вас мы потеряли более двух тысяч франков. Неподалеку от Сент-Уена у Сычихи было назначено свидание с высоким господином в трауре, он позавчера вечером осведомлялся о вас в кабаке; он предложил нам две тысячи франков, чтобы мы кое-что сделали вам... Поножовщик приблизительно объяснил нам суть дела... Да, чуть не забыл, Хитруша, – обратился разбойник к жене, – сходи в «Корзину цветов», выбери там отдельный кабинет и закажи хороший завтрак; отбивные котлеты, кусок телятины, салат и две бутылки лучшего бонского вина; мы нагоним тебя.

За все это время Сычиха ни на минуту не отрывала от Родольфа своего единственного глаза; обменявшись взглядом с Грамотеем, она тотчас же ушла.

– Итак, я говорил вам, господин Родольф, что Поножовщик ввел меня в курс дела.

– А что значит ввести в курс?

– Правильно... Этот язык несколько сложен для вас; я хотел сказать, что Поножовщик объяснил мне в общих чертах, чего хочет от вас высокий господин в трауре со своими двумя тысячами.

– Хорошо, хорошо.

– Не слишком-то хорошо, молодой человек, ибо Поножовщик, встретив вчера утром Сычиху возле Сент-Уена, не отошел от нее ни на шаг, даже когда появился высокий господин в трауре; вот почему этот последний не посмел к ней приблизиться. Следовательно, с вашей помощью мы должны вернуть эту сумму, не считая пятисот франков за бумажник, который мы все равно не стали бы отдавать, ибо из просмотра бумаг явствует, что они стоят много дороже.

– В нем были большие ценности?

– Нет, только документы, которые показались мне весьма любопытными, хотя в большинстве своем они написаны по-английски; я их храню вот здесь, – сказал разбойник, похлопывая по боковому карману своего редингота.

Слова Грамотея о том, что он имеет при себе бумаги, выкраденные им два дня назад у Тома, очень обрадовали Родольфа, ибо бумаги эти имели для него большое значение. Указания, данные им Поножовщику, не преследовали иной цели, как помешать Тому подойти к Сычихе; в этом случае бумажник остался бы у нее, а Родольф надеялся сам завладеть им.

– Итак, я сохранил их на всякий случай, – сказал разбойник, – ибо я нашел адрес господина в трауре и не сегодня завтра пообщаюсь с ним.

– Если хотите, мы заключим с вами сделку, если наше дело выгорит, я куплю у вас все бумаги; ведь я знаком с этим человеком и они мне нужнее, чем вам.

– Поживем – увидим... Но вернемся к нашему разговору.

– Так вот, я предложил великолепное дело Поножовщику, он сперва согласился, потом отказался.

– Вечно у него какие-то причуды...

– Но, отказавшись, он обратил внимание...

– Он обратил ваше внимание...

– Черт возьми!.. Вы на грамматике собаку съели.

– Оно и понятно, ведь по профессии я школьный учитель.

– Итак, он обратил мое внимание на вас, сказал, что сам не ест *красного хлеба*, но не хочет отваживать от него других, и добавил, что вы – человек, который мне нужен.

– Не могли бы вы сказать – не сочтите мой вопрос за бестактность, – почему вчера утром вы назначали свидание Поножовщику в Сент-Уене, что позволило ему встретиться с Сычихой? Он был в замешательстве и ничего мне не объяснил толком.

Родольф незаметно прикусил губу и, пожимая плечами, ответил:

– Вполне естественно, ведь я открыл ему свой план лишь наполовину: понимаете... он еще не дал мне окончательного ответа.

– Вы поступили осмотрительно...

– Тем более что у меня было два дела на примете.

– Да?

– Вот именно.

– Вы человек осторожный... Итак, вы назначили свидание Поножовщику в Сент-Уене для...

После недолгого колебания Родольфу удалось придумать довольно правдоподобную историю, чтобы замаять неловкость Поножовщика.

– Вот в чем дело... – сказал он. – Операция, которую я предлагаю, хороша тем, что хозяин дома, о котором идет речь, уехал за город... но я очень опасался, как бы он не вернулся. Чтобы быть спокойным на этот счет, я сказал себе: остается только одно...

– Убедиться воочию в присутствии хозяина дома в деревне.

– Вы правы... Итак, я отправляюсь в Пьерфит, где находится его дача... моя двоюродная сестра работает у него прислугой, понимаете?

– Прекрасно понимаю, парень. И что же?

– Сестра сказала мне, что ее хозяин приедет в Париж только послезавтра.

– Послезавтра?

– Да.

– Прекрасно, но я возвращаюсь к своему вопросу... Зачем было назначать свидание Поножовщику в Сент-Уене?

– Вы не только сообразительны... На каком расстоянии от Пьерфита находится Сент-Уен?

– Приблизительно на расстоянии одного лье.

– А сколько от Сент-Уена до Парижа?

– Столько же.

– Так вот, если бы я никого не нашел в Пьерфите, иначе говоря, если бы дача была пуста... там тоже можно было обделать выгодное дельце, не такое выгодное, как в Париже, но все же сносное... В этом случае я поспешил бы в Сент-Уен за Поножовщиком, который ждал меня в условленном месте. Мы вернулись бы в Пьерфит по известной мне проселочной дороге.

– Понимаю. А если, напротив, дело ждало вас в Париже?

– Мы добрались бы до заставы Этуаль по дороге Восстания и по аллее Вдов.

– Да, это рядом. Из Сент-Уена вам было рукой подать до обеих операций... ловко придумано. Теперь мне ясно присутствие Поножовщика в Сент-Уене... Итак, мы говорили, что дом на аллее Вдов будет пустовать до послезавтра...

– Да... за исключением привратника.

– Само собою разумеется... И это выгодная операция?

– Сестра говорила мне о шестидесяти тысячах франков золотом в кабинете хозяина дома.

– И вам знакомо расположение комнат в доме?

– Как нельзя лучше... сестра работает там уже год... И постоянно говорит об огромных суммах, которые хозяин берет из банка, чтобы вложить их в дело; вот я и надумал. Только сторож там человек здоровенный, и мне пришлось обратиться к Поножовщику... Он долго ломался, потом было согласился... но увильнул... Впрочем, он не такой человек, чтобы мог продать друга.

– Да, в нем есть кое-что хорошее. Вот мы и пришли. Не знаю, как у вас, но у меня на воздухе разыгрался аппетит...

Сычиха ждала их на пороге кабачка.

– Вот сюда, сюда, – проговорила она, – проходите, пожалуйста! Я заказала завтрак.

Родольф хотел пропустить разбойника перед собой: для этого у него были особые основания... но Грамотей так настойчиво отказывался от этого знака внимания, что Родольф прошел первым. Еще не садясь за стол, Грамотей тихонько постучал по обеим перегородкам, чтобы убедиться в их толщине и звуконепроницаемости.

– Здесь не придется говорить слишком тихо, – сказал он, – перегородки не тонкие. Нам все подадут сразу, и никто не побеспокоит нас во время беседы.

Служанка принесла все, что было заказано.

Прежде нежели дверь за ней затворилась, Родольф заметил угольщика Мэрфа, степенно расположившегося в соседнем кабинете.

Помещение, в котором происходила описываемая нами сцена, было длинное, узкое, с единственным окном, которое выходило на улицу и находилось как раз против двери.

Сычиха села спиной к окну, Грамотей и Родольф поместились на двух противоположных концах стола.

Как только служанка вышла, разбойник встал из-за стола, взял свой прибор и сел рядом с Родольфом так, чтобы скрыть от него дверь.

– Беседовать так будет удобнее, – сказал он, – нам не придется повышать голос.

– И, кроме того, вы хотите отгородить меня от двери и помешать уйти... – холодно возразил Родольф.

Грамотей утвердительно кивнул, затем наполовину вытащил из кармана своего редингота длинный, круглый стилет, толщиной с большое гусиное перо, деревянная ручка которого была зажата в его волосатой руке.

– Видите?

– Да.

– Совет знатокам...

И, насупив брови движением, от которого сморщился его лоб, широкий и плоский, как у тигра, он сделал выразительный жест.

– И можете мне поверить. Я сама наточила ножичек моего муженька.

С поразительной непринужденностью Родольф вынул из-под блузы двустольный пистолет и, показав его, снова спрятал в карман.

– Прекрасно... Мы оценили друг друга. Но вы недооценили меня... Давайте предположим невозможное: если за мной явится полиция, я вас убью вне зависимости от того, кто устроил мне эту ловушку.

И он бросил свирепый взгляд на Родольфа.

– А я тут же накинусь на него, чтобы помочь тебе, чертушка, – воскликнула Сычиха.

Родольф ничего не ответил; пожав плечами, он налил стакан вина и осушил его.

Хладнокровие Родольфа произвело впечатление на Грамотея.

– Я только хотел предупредить вас...

– Ладно, ладно, спрячьте в карман вашу шпиговальную иглу, здесь нет цыпленка для шпиговки. Я старый петух, и у меня острые шпоры, приятель, – сказал Родольф. – А теперь поговорим о делах.

– Хорошо, поговорим о делах. Но не отзывайтесь дурно о моей шпиговальной игле: она не производит шума и не привлекает внимания.

– И свое дело делает чисто, правда, чертушка? – добавила Сычиха.

– Кстати, – обратился Родольф к Сычихе, – правда ли, что вам известны родители Певуны?

– Мой муж положил в бумажник высокого господина в черном два письма, в которых говорится об этом, но девчонка их не увидит... Скорее я собственноручно вырву у нее глаза... О, когда она появится в кабаке, ее песенка будет спета...

– Да полно тебе, Хитруша! Говорим мы, говорим, а дела наши не двигаются.

– Можно бакулить<sup>60</sup> при ней? – спросил Родольф.

– Да, и вполне откровенно; она человек испытанный и может нам очень пригодиться: стоять на страже, собирать сведения и даже прятать, перепродавать краденое и т. д.; она обладает всеми качествами превосходной домашней хозяйки... Славная Хитруша! – сказал разбойник, протягивая руку отвратительной старухе. – Вы не представляете себе, сколько услуг она мне оказала... Ты бы сняла свою шаль, Хитруша, не то озябнешь на улице... Положи ее на стул рядом со своей корзинкой...

---

<sup>60</sup> Говорить.

Сычиха сняла шаль.



*С поразительной непринужденностью Родольф вынул из-под блузы двустольный пистолет...*

Несмотря на все свое самообладание, Родольф вздрогнул от удивления при виде маленького изображения Святого Духа из лазурита, висящего на цепочке из поддельного золота, которую носила старуха, изображения, в точности соответствующего описанию той реликвии, которая, по словам г-жи Жорж, была на шее ее сына в день его исчезновения.

При этом открытии внезапная мысль блеснула в голове Родольфа. Со слов Поножовщика, Грамотей, бежавший с каторги полгода назад, сбил со следа полицию, обезобразив себя... и как раз полгода назад муж г-жи Жорж исчез с каторги и как в воду канул.

Сопоставив эти два факта, Родольф подумал, что Грамотей вполне мог быть супругом этой несчастной женщины.

Ее недостойный муж принадлежал некогда к зажиточному слою общества... а Грамотей употреблял иной раз изысканные обороты речи.

Одно воспоминание влечет за собой другое: Родольф вспомнил, кроме того, что, рассказывая ему с дрожью в голосе об аресте своего мужа, г-жа Жорж упомянула об отчаянном сопротивлении этого мерзавца, которому едва не удалось вырваться от полицейских благодаря своей геркулесовой силе.

Если этот злодей был мужем г-жи Жорж, он знает, конечно, об участии своего сына. Кроме того, в бумажнике, украденном им у иностранца, известного под именем Том, имелись какие-то бумаги, относящиеся к рождению Певуны.

Итак, у Родольфа появились новые, и серьезные, причины продолжать начатое дело.

К счастью, его озабоченность ускользнула от внимания разбойника, усердно потчевавшего Сычиху.

– Черт возьми!.. Какая у вас красивая цепочка... – обратился Родольф к одноглазой.

– Красивая... и недорогая... – ответила, смеясь, старуха. – Это поддельное золото, ношу ее, пока муженек не купит мне золотую...

– Все зависит от господина Родольфа, Хитруша... Если наше дельце выгорит, будь покойна...

– Поразительная подделка, нипочем не отличишь от золотой, – продолжал Родольф, – а что это за голубая штучка висит на ней?

– Это подарок муженька взамен бимбера<sup>61</sup>, который он обещал мне... правда, чертушка?

Родольф отметил, что его подозрения наполовину подтвердились. Он с беспокойством ожидал ответа Грамотея.

– Тебе придется сохранить эту безделушку, несмотря на бимбер, Хитруша... Это талисман... Он приносит счастье...

– Талисман? – небрежно заметил Родольф. – Неужто вы верите в талисманы? Где же вы, к черту, откопали его?.. Дайте мне адрес фабрики.

– Их больше не делают, мой дорогой, лавочка закрылась... Эта безделушка относится к седой древности, ее носили три поколения. Я очень дорожу ею – это фамильная драгоценность, – прибавил он с мерзкой улыбкой. – Потому-то я и подарил ее Хитруше... пусть принесет ей счастье в наших совместных операциях, ибо она весьма ловко помогает мне... Увидите, увидите ее в деле... если мы предпримем вместе какую-нибудь коммерческую сделку... Но вернемся к главному предмету нашего разговора... Вы говорили, что на аллее Вдов...

– Имеется под номером семнадцать дом, принадлежащий богачу... зовут его...

– Я не так бестактен, чтобы интересоваться его фамилией... И вы говорите, что в его кабинете имеется шестьдесят тысяч франков золотом?

– Шестьдесят тысяч франков золотом! – воскликнула Сычиха.

Родольф утвердительно кивнул.

– И вы знаете расположение комнат в этом доме? – спросил Грамотей.

– Прекрасно знаю.

– А войти в дом трудно?

– Со стороны аллеи Вдов – каменная ограда семи футов высотой, сад, в который выходят окна одноэтажного дома без всяких уступов и выступов.

– И один-единственный привратник охраняет эти сокровища?

– Да!

– Каков же ваш план кампании, молодой человек?

---

<sup>61</sup> Часов.

– План самый простой... перелезть через стену, открыть отмычкой входную дверь или взломать ставни с внешней стороны. Что вы на это скажете?

– А что, если привратник проснется? – спросил Грамотей, пристально смотря на молодого человека.

– Сам будет в этом виноват... – ответил Родольф многозначительно. – Ну как, подходит вам это дельце?

– Вы прекрасно понимаете, что я ничего не отвечу вам, пока не увижу всего своими глазами, иначе говоря, с помощью моей жены; но если все, что вы говорите, соответствует действительности, мне кажется, что следует взять эти сокровища еще тепленькими... сегодня вечером.

И злодей пристально взглянул на Родольфа.

– Сегодня вечером... невозможно, – холодно ответил тот.

– Почему, раз хозяин возвращается только послезавтра?

– Да, но я не могу сегодня вечером!..

– Неужели? Ну а я не могу завтра.

– По какой причине?

– По той же, которая мешает вам действовать сегодня... – ответил с ухмылкой разбойник.

– Ладно!.. Согласен, пусть будет сегодня вечером. Где мы встретимся с вами? – ответил, немного подумав, Родольф.

– Встретимся? Мы не расстанемся до вечера, – сказал Грамотей.

– Как так?

– А к чему нам разлучаться? Погода проясняется, мы погуляем, бросим взгляд на аллею Вдов. Вы посмотрите, как работает моя жена. После чего мы вернемся, сыграем партию в пикет и закусим в знакомом мне подвальчике на Елисейских полях, в том, что рядом с рекой; а ввиду того, что аллея эта пустеет рано, мы отправимся туда к десяти часам вечера.

– Я присоединюсь к вам в девять часов.

– Хотите вы или не хотите участвовать в деле вместе с нами?

– Хочу.

– В таком случае мы не расстанемся до вечера... иначе...

– Иначе?

– Я подумаю, что вы собираетесь устроить мне заманиху<sup>62</sup>, а потому и хотите уйти...

– Если я собираюсь устроить вам ловушку, что мешает мне сделать это сегодня вечером?

– Решительно все... Вы не ожидали, что я предложу вам немедленно приступить к делу.

А поскольку мы не разлучимся, вы не сумеете никого предупредить...

– Вы не верите мне?..

– Нисколько... но так как в вашем предложении может оказаться доля правды, а шестьдесят тысяч франков заслуживают того, чтобы ими заняться... Я согласен попытать счастья, но только сегодня вечером или никогда... В последнем случае я пойму, что вы собой представляете... и угощу вас в свою очередь... не сегодня, так завтра, кушаньем собственного изготовления...

– А я оплачу вам за любезность... можете не сомневаться.

– Все это глупости! – пробормотала Сычиха. – Я скажу то же, что и чертушка; сегодня вечером или никогда.

Родольф был в жесточайшей тревоге: стоит ему упустить эту возможность захватить Грамотея, и, по всей вероятности, она никогда больше не представится: отныне злодей будет настороже, а быть может, его опознают, арестуют и снова сошлют на каторгу, а он унесет с собой все тайны, которые Родольфу было необходимо узнать.

---

<sup>62</sup> Ловушку.

Положив довериться случаю, своей ловкости и смелости, он сказал Грамотею:

– Согласен, мы не расстанемся до сегодняшнего вечера.

– В таком случае я с вами заодно... Скоро будет два часа... Отсюда до аллеи Вдов далеко; дождь льет как из ведра: давайте сложимся и наймем извозчика.

– Если мы возьмем извозчика, я успею выкурить сигару.

– Конечно, – сказал Грамотей. – Хитруша не боится запаха табака.

– В таком случае я выйду на минутку, чтобы купить их, – молвил Родольф, вставая из-за стола.

– Не утруждайте себя понапрасну, – заметил Грамотей. – Хитруша сходит за ними...

Родольф сел на прежнее место.

Грамотей разгадал его намерения.

Сычиха вышла из кабинета.

– Какая у меня хорошая хозяйюшка, а? – заметил негодяй. – И до чего ж покладистая! Ради меня она пойдет в огонь и в воду.

– Кстати, насчет огня, здесь, черт возьми, не жарко, – заметил Родольф и спрятал обе руки под блузой.

Продолжая разговаривать с Грамотеем, он незаметно вынул из своего жилетного кармана карандаш с клочком бумаги и торопливо набросал несколько слов, стараясь, чтобы буквы не насакивали друг на дружку, так как писал он под блузой, вслепую.

Проницательность Грамотея удалось обмануть, оставалось передать записку по назначению.

Родольф встал, машинально подошел к окну и стал тихонько напевать что-то, барабанив пальцами по стеклу.

Грамотей тоже заглянул в окно и небрежно спросил Родольфа:

– Что за мотив вы наигрываете?

– «Ты не получишь моей розы».

– Красивый мотив... Хотелось бы только знать, не заставит ли он обернуться прохожих.

– На это я не претендую.

– Вы неправы, молодой человек, ибо с большим мастерством стучите по стеклу. Да, вот что пришло мне в голову... Сторож того дома по аллее Вдов, вероятно, парень решительный. Если он будет сопротивляться... У вас есть только пистолет... и стреляет он громко, тогда как такой инструмент, как мой, – и он показал Родольфу рукоятку своего кинжала, – бесшумен и никого не привлечет.

– Как, вы хотите убить сторожа?! – воскликнул Родольф. – Если таково ваше намерение... позабудем об этой затее... ничего еще не сделано... не рассчитывайте на меня.

– А если он проснется?

– Мы убежим...

– Вот оно что, я вас плохо понял; всегда лучше договориться заранее... Значит, речь идет лишь о краже со взломом.

– Да, только об этом.

– Хорошо, будь по-вашему...

«А так как я не отойду от тебя ни на шаг, – подумал Родольф, – тебе никого не удастся убить».

## Глава XVI

### Подготовка

Сычиха вернулась в кабинет с сигарами.

– Мне кажется, что дождь перестал, – сказал Родольф, раскуривая сигару, – не пойти ли нам самим за извозчиком, чтобы размяться?

– Как это перестал? – воскликнул Грамотей. – Вы что, ослепли?.. Неужели вы думаете, что я подвергну Хитрушу опасности простудиться... рискну ее столь драгоценной жизнью... и испорчу ее превосходную новую шаль?..

– Ты прав, муженек, на улице собачья погода!

– Сейчас придет служанка, и, расплатившись, мы пошлем ее за извозчиком.

– Вот самые разумные слова, которые вы сказали до сих пор, молодой человек, и прока- тимся в сторону аллеи Вдов.

Вошла служанка. Родольф дал ей сто су.

– Ах, сударь... вы злоупотребляете... я не потерплю! – воскликнул Грамотей.

– Полноте!.. Придет и ваш черед.

– Хорошо, я подчиняюсь... но с условием, что угощу вас на славу в кабаке на Елисейских полях... это лучшее местечко из всех мне известных.

– Ладно, ладно... согласен.

Расплатившись со служанкой, компания направилась к двери. Родольф хотел выйти последним из уважения к Сычихе. Грамотей не допустил этого и последовал за ним, не упуская из виду ни одного его движения. У тамошнего ресторатора была также распивочная. Среди посетителей выделялся угольщик с перепачканным лицом, в широкополой шляпе, надвинутой на глаза; он как раз расплачивался у стойки за выпитое вино, когда появилась наша троица. Несмотря на неусыпный надзор Грамотея и одноглазой, Родольф, шедший впереди омерзительной супружеской четы, успел обменяться быстрым, едва уловимым взглядом с Мэрфом, когда садился на извозчика.

Дверца кареты была открыта, Родольф задержался, твердо решив, что на этот раз пропустит своих спутников, ибо угольщик незаметно приблизился к нему.

В самом деле, Сычиха села первая, правда, после всяких отговорок; Родольфу пришлось последовать за ней, ибо Грамотей сказал ему на ухо:

– Вы что ж, хотите, чтобы я окончательно разуверился в вас?

Когда Родольф был уже в карете, угольщик, посвистывая, вышел за порог двери и с удивлением, с беспокойством взглянул на Родольфа.

– Куда поедет, хозяин? – спросил кучер.

Родольф ответил громким голосом:

– На аллею...

– Акаций, в Булонский лес, – крикнул Грамотей, перебивая Родольфа, и прибавил: – Мы вам хорошо заплатим.

Дверца кареты захлопнулась.

– Как, черт подери, могли вы сказать, куда мы едем, в присутствии всех этих зевак?! – сказал Грамотей. – Если завтра все будет открыто, такое показание может нас погубить. Ах, молодой человек, молодой человек, как вы неосторожны!

Лошади тронули.

– Правда, я не подумал об этом. Но из-за моей сигары вы прокоптитесь здесь, как селедки. Что, если нам открыть окошко?

И, не мешкая, Родольф искусно выпустил из рук тоненькую, тщательно свернутую бумажку, ту самую, на которой он успел нацарапать несколько слов в кабаке... У Грамотея был

такой зоркий глаз, что, несмотря на полную невозмутимость Родольфа, он, вероятно, уловил в его взгляде проблеск торжества, ибо, просунув голову в дверцу кареты, крикнул извозчику:

– Стой!.. Стой!.. Кто-то догоняет нас.

Родольф внутренне содрогнулся, но тоже крикнул «стой!».

Карета остановилась. Извозчик обернулся и посмотрел назад.

– Нет, хозяин, там никого нет, – сказал он.

– Я сам хочу убедиться в этом, черт подери! – вскричал Грамотей и спрыгнул на мостовую.

Никого не увидев, ничего не заметив, так как за это время извозчик успел проехать несколько шагов, Грамотей решил, что ошибся.

– Вы будете смеяться надо мной, – сказал он, садясь в карету, – сам не знаю почему, но мне показалось, что кто-то едет за нами.

Тут извозчик свернул на поперечную улицу.

Дело в том, что Мэрф, с самого начала не спускавший глаз с извозчицкой кареты, заметил маневр Родольфа, мигом подбежал к бумажке, попавшей в расщелину мостовой, и схватил ее.

Через четверть часа Грамотей сказал извозчику:

– Вот что, любезный, мы изменили решение: на площадь Мадлен!

Родольф с удивлением взглянул на него.

– Видите ли, молодой человек, с этой площади можно отправиться куда угодно. В случае, если нас побеспокоят, показания кучера не будут иметь никакой цены.

В ту минуту, когда извозчик подъезжал к заставе, высокий темнолицый мужчина в длинном светлом рединготе, со шляпой, надвинутой на глаза, промчался по дороге на великолепной охотничьей лошади, поражающей быстротой своего хода.

– Какая великолепная лошадь и какой превосходный всадник! – сказал Родольф, высунувшись из окна кареты и провожая взглядом Мэрфа (ибо это был он). – И как прекрасно скачет этот полный человек.

– К сожалению, он так стремительно проехал мимо, – сказал Грамотей, – что я его не заметил.

Родольф весьма ловко скрыл свою радость: очевидно, Мэрф расшифровал написанную чуть ли не иероглифами записку. Грамотей, убедившись, что за извозчиком никто не следует, решил последовать примеру Сычихи, которая дремала или, скорее всего, притворялась, что дремлет.

– Извините меня, молодой человек, но движение кареты всегда оказывает на меня какое-то странное действие: усыпляет, как ребенка, – сказал он Родольфу.

Под предлогом своего мнимого сна разбойник хотел понаблюдать, не выдаст ли их спутник своего волнения.

Родольф разгадал эту хитрость.

– Я рано встал сегодня утром; мне хочется спать... я тоже попробую уснуть, – ответил он и закрыл глаза.

Вскоре громкое дыхание Грамотея и Сычихи, которые храпели в унисон, настолько обмануло Родольфа, что он чуть приподнял веки.

Но, несмотря на свой храп, Грамотей и Сычиха держали глаза открытыми и обменивались какими-то тайными знаками с помощью пальцев, как-то странно переплетенных на их ладонях. Этот символический язык мигом прекратился. Обнаружив по какому-то еле заметному признаку, что Родольф не спит, разбойник воскликнул со смехом:

– Ха, ха, приятель... Вы, значит, испытываете своих друзей?

– Это не должно вас удивлять, вы сами храпите с открытыми глазами.

– Мое дело особое, молодой человек, я лунатик...

Извозчик остановился на площади Мадлен. Дождь временно перестал, но гонимые ветром облака были так черны и так низко нависли над землей, что почти совсем стемнело. Родольф, Сычиха и Грамотей направились в Кур-ла-Рен.

– Молодой человек, мне пришла в голову одна мысль... и мысль недурная, – сказал разбойник.

– Какая?

– Убедиться, соответствует ли действительности все, что вы сказали о расположении комнат в доме на аллее Вдов.

– Вы хотите немедленно отправиться туда под каким-нибудь предлогом? Но это может вызвать подозрения.

– Я не так простодушен, как вы думаете... молодой человек... но у меня есть жена по прозвищу Хитруша.

Сычиха вскинула голову.

– Взгляните на нее, молодой человек! Она точно боевой конь, услышавший сигнал горниста.

– Вы хотите послать ее на разведку?

– Вот именно.

– Дом номер семнадцать, аллея Вдов, правильно, муженек? – вскричала Сычиха, горя нетерпением. – Будь спокоен, у меня только один глаз, но видит он хорошо.

– Взгляните, взгляните на нее, молодой человек, ей не терпится побывать там.

– Если она ловко возьмется за дело, я скажу, что ваша мысль недурна.

– Оставь у себя зонтик, чертушка... Через полчаса я вернусь, и ты увидишь, на что я способна, – воскликнула Сычиха.

– Минутку, Хитруша, мы зайдем сперва в «Кровоточащее сердце», это в двух шагах отсюда. Если Хромуля там, ты возьмешь его с собой; он останется сторожить у двери дома, пока будешь внутри.

– Ты прав: он хитер как лиса, этот мальчишка, – ему еще нет и десяти лет, а между тем он давеча...

По знаку Грамотея Сычиха прикусила язык.

– «Кровоточащее сердце», что за странное название для кабака? – спросил Родольф.

– Если название вам не по вкусу, пожалуйста кабатчику.

– А как его зовут?

– Кабатчика «Кровоточащего сердца»?

– Да.

– Не все ли вам равно? Ведь он-то не спрашивает имена своих посетителей.

– И все же?

– Зовите его, как вам будет угодно: Пьер, Тома, Кристоф, Барнабе, он откликается на все имена... Вот мы и пришли... И вовремя, так как вот-вот снова пойдет... Как шумит река, точно водопад! Увидите: еще два дня таких дождей, и вода поднимется выше арок моста.

– Вы говорите, что мы пришли... Где же, к черту, кабак? Я не вижу здесь ни одного дома!

– Конечно, потому что вы смотрите вокруг себя.

– А куда же мне смотреть, по-вашему?

– Себе под ноги.

– Под ноги?

– Да.

– Куда именно?

– Вот сюда... сюда... Видите крышу? Только не вздумайте ступить на нее.

Родольф и в самом деле не заметил одного из тех подземных кабаков, которые встречались еще несколько лет тому назад в разных местах Елисейских полей, и в частности около Кур-ла-Рен.



*Густой, влажный туман присоединился к дождю... близилась ночь.*

Лестница, вырытая во влажной жирной земле, вела к некоему подобию обширного рва, к одной из отвесных граней которого прилепилась низкая грязная лачуга с потрескавшимися стенами; ее черепичная, замшелая крыша едва доходила до поверхности земли, где стоял Родольф; два-три сарая из трухлявых досок – погреб, сарай и крольчатник – дополняли этот вертеп.

Узенькая дорожка, шедшая по дну рва, вела от лестницы к двери дома; остальная территория была занята увитой зеленью беседкой с двумя рядами грубых, врытых в землю столов.

От ветра заунывно скрипела выдавшая виды жестяная вывеска; сквозь покрывавшую ее ржавчину можно было различить красное сердце, пронзенное стрелой. Вывеска покачивалась на стояке, прибитом над дверью этой пещеры, подлинного человеческого логова.

Густой, влажный туман присоединился к дождю... близилась ночь.

– Что вы скажете об этом отеле... молодой человек? – спросил Грамотей.

– Благодаря дождю, который льет уже две недели... здесь, верно, образовался пруд и можно заняться рыбной ловлей... Ну же, проходите.

– Минутку... надо узнать, здесь ли хозяин... Внимание.

И разбойник, с силой проводя языком по небу, издал странный крик, некое подобие гортанной барабанной дробы, гулкой и продолжительной, которую можно было бы изобразить следующим образом:

– Прррр!

Такой же крик донесся из глубины лачуги.

– Он дома, – сказал Грамотей. – Извините, молодой человек... Почет дамам, пропустим вперед Сычиху... Я следую за вами... Будьте осторожны... Здесь скользко...

## Глава XVII

### «Кровоточащее сердце»

Ответив на условный крик Грамотея, хозяин «Кровоточащего сердца» любезно вышел на порог своего заведения.

Этот человек, которого Родольф напрасно разыскивал в Сите и об имени или, точнее, о прозвище которого еще не догадывался, был не кто иной, как Краснорукий.

Кабатчику, тонкому, тщедушному, немощному человеку, можно было дать лет пятьдесят. В его физиономии было что-то кунье, крысиное; острый нос, скошенный подбородок, обтянутые кожей скулы, маленькие черные глазки, живые и пронзительные, придавали его лицу неподражаемое выражение хитрости, пронизательности и ума. Старый белокурый или, точнее, желтый, как и желтушный цвет его лица, парик, надетый на макушку, оставлял открытыми седеющие сзади волосы. На кабатчике была куртка и длинный черноватый фартук; обычно такие фартуки носят приказчики виноторговцев.

Едва трое пришедших спустились с лестницы, как мальчик лет десяти, самое большее, рахитичный, хромой и кривобокий, подошел к Краснорукому, на которого был до того похож, что никто не усомнился бы, что он сын кабатчика.

У ребенка был отцовский пронизательный и коварный взгляд, а лоб наполовину скрыт копной желтоватых волос, прямых, жестких, как конский волос. Коричневые штаны и серая блуза, стянутая кожаным ремнем, – такова была одежда Хромули, прозванного так из-за своего увечья; он стоял рядом с отцом на здоровой ноге, словно цапля на краю болота.

– Вот как раз и малыш, – сказал Грамотей. – Хитруша, время не ждет, приближается ночь... Надо все успеть засветло.

– Ты прав, муженек... я попрошу, чтобы отец отпустил со мной мальчугана.

– Здравствуй, старик, – сказал Краснорукий, обращаясь к Грамотею похожим на женский голосом, резким и пронзительным, – чем могу служить?

– Отпусти на четверть часа своего малыша, моя жена кое-что потеряла неподалеку отсюда... он поможет ей поискать...

Краснорукий многозначительно подмигнул Грамотею и сказал сыну:

– Хромуля... ты пойдешь вместе с дамой.

Уродливый мальчик подбежал, прихрамывая, к Сычихе и взял ее за руку.

– Что за прелестный ребяенок!.. Малыш как малыш! – сказала Хитруша. – Так и тянется к тебе... Не то что Воровка, у этой побирушки вечно был такой вид, что ее вот-вот стошнит, стоило ей приблизиться ко мне.

– Ну же, поторапливайся, Хитруша... шире открывай глаз и действуй с оглядкой.

– Я не задержусь... Иди вперед, Хромуля!

Одноглазая старуха и хромой мальчик поднялись по скользкой лестнице.

– Хитруша, возьми зонтик, – крикнул разбойник.

– Он мне только помешает, муженек, – ответила старуха.

И она скрылась вместе с Хромулей в туманных сумерках, среди заунывного воя ветра, сотрясавшего на Елисейских полях черные голые ветви больших вязов.

– Давайте войдем, – сказал Родольф.

Пришлось нагнуться, чтобы пройти в дверь кабака, разделенного на две залы. В первой зале видишь стойку и потрепанный бильярд, во второй – столы и садовые стулья, некогда выкрашенные в зеленый цвет. Два узких окна слабо освещают обе комнаты, зеленоватые стены которых изъедены сыростью.

На несколько секунд Родольф остался один, и за это время Краснорукий и Грамотей успели обменяться несколькими словами и какими-то таинственными знаками.

– Не выпьете ли вы пива или водки в ожидании Хитруши? – спросил Грамотей.

– Нет... Мне не хочется пить.

– Каждый поступает по-своему... А вот я выпью стакан водки.

И Грамотей сел за один из зеленых столиков во второй зале.

Темнота все больше сгущалась в этом притоне, так что невозможно было разглядеть в углу второй залы зияющий вход в подвал, куда ведет двустворчатый люк, одна из створок которого обычно остается открытой для удобства тех, кто обслуживает клиентов. Стол, за который сел Грамотей, находился рядом с этой черной и глубокой дырой, скрытой его массивной фигурой от глаз Родольфа.

Этот последний смотрел в окно, чтобы занять себя и скрыть свою озабоченность. Встреча с Мэрфом, скакавшим во весь опор на аллею Вдов, не вполне успокоила его; он боялся, что эсквайр не понял смысла его записки, поневоле лаконичной и содержавшей лишь несколько слов: *Сегодня вечером, десять часов.*

Родольф твердо решил отправиться на аллею Вдов не раньше назначенного часа, а до тех пор не расставаться с Грамотеем. Как он ни был ловок и вооружен, ему придется состязаться в хитрости с опасным, на все готовым убийцей... но для раскрытия тайн, которые он должен узнать, иной возможности нет.

Стоит ли говорить об этом? Но таков уж был склад странного характера Родольфа, жаждущего сильных ощущений, что он находил жуткое удовольствие в тревогах и препятствиях, вставших на пути выполнения плана, который он обсудил накануне со своим верным Мэрфом и с Поножовщиком.

Не желая, однако, чтобы Грамотей отгадал его мысли, он сел за тот же стол и приличия ради заказал стакан вина.

С тех пор как Краснорукий неслышно обменялся несколькими словами с разбойником, он поглядывал на Родольфа с видом пытливым, сардоническим, недоверчивым.

– На мой взгляд, молодой человек, – сказал Грамотей, – если жена узнает, что люди, которых мы хотим видеть, находятся дома, мы сможем нанести им визит около восьми часов.

– Это слишком рано, – ответил Родольф, – разница в два часа стеснит их...

– Вы так думаете?

– Уверен...

– Полноте, что за счеты между друзьями...

– Я их знаю; повторяю, что туда не стоит являться раньше десяти часов.

– До чего же вы упрямы, молодой человек!

– Я отвечаю за свои слова. И чтоб мне было пусто, если я уйду отсюда раньше десяти часов!

– Не церемоньтесь из-за меня: я никогда не закрываю своего заведения раньше полуночи, – сказал Краснорукий своим тонким голосом. – Как раз в это время приходят лучшие клиенты... а мои соседи не жалуются на шум, который те поднимают.

– Приходится во всем соглашаться с вами, молодой человек, – заметил Грамотей. – Будь по-вашему, мы отправимся отсюда только в десять часов.

– А вот и Сычиха! – воскликнул Краснорукий, услышав условный крик, подобный тому, который Грамотей издал, прежде чем спуститься в этот подземный дом.

Минуту спустя в бильярдную Сычиха вошла одна.

– Все ладно, муженек... дела на мази!.. – воскликнула одноглазая, переступая порог.

Краснорукий деликатно удалился, не спросив о Хромале, которого он, очевидно, не ждал так скоро. Старуха промокла до нитки; она села против Родольфа и Грамотея.

– Ну как? – спросил последний.

– До сих пор парень не соврал.

– Вот видите! – воскликнул Родольф.

– Не мешайте рассказывать Сычихе, молодой человек... Продолжай, Хитруша.

– Я подошла к дому семнадцать, оставив Хромулю сторожить поблизости, в канавке. Было еще светло. Я стала трезвонить у маленькой калитки; дверные петли у нее снаружи, про- свет внизу широкий, в два пальца, словом, детская забава. Продолжаю звонить, сторож открывает мне. Это высокий, толстый мужчина лет пятидесяти, вид сонный и добродушный, рыжие бакенбарды полумесяцем, лысая голова... Но, прежде чем начать звонить, я спрятала свой чепчик в карман, чтобы походить на соседку. Увидев сторожа, я заплакала в голос, крича, что потерялся мой попугайчик, по кличке Кокот, которого я обожаю... Я сказала, что живу на проспекте Марбеф и хожу из дома в дом в поисках своего любимца. Наконец я принялась умолять сторожа позволить мне поискать Кокот у него.

– Гм! – пробурчал Грамотей с довольным и горделивым видом, указывая на Хитрушу. – Что за женщина, а?

– Очень ловко разыграно! – сказал Родольф. – Ну а потом?

– Сторож разрешил мне поискать попугая, и вот я хожу по саду, зову: «Кокот! Кокот!» – а сама смотрю вверх и по сторонам, чтобы хорошенько все разглядеть. С внутренней стороны каменной ограды, – продолжала свое описание Сычиха, – стоят, куда ни глянь, трельяжи, увитые зеленью, а в левом ее углу растет кривая ветвистая сосна, по ней спустилась бы в сад и беременная женщина. Дом одноэтажный, в нем шесть окон и четыре узких оконца без поперечин в подвальном помещении. На окнах ставни, они закрываются снизу на крючок, сверху – на шпингалет; нажать на плинтус, просунуть проволоку...

– ...И окно открыто, – заметил Грамотей, – дело плевое...

– Входная дверь застеклена... с ее внешней стороны две решетчатые ставни.

– Запомним, – сказал разбойник.

– Все в точности! Словно мы сами там побывали, – подтвердил Родольф.

– Слева, – продолжала Сычиха, – возле двора, колодец; веревка на нем может пригодиться, так как с этой стороны у каменной ограды нет трельяжа; я говорю это на тот случай, если отступление со стороны входной двери будет отрезано... Войдя в дом...

– Ты была в доме? Она была в доме, молодой человек! – с гордостью проговорил Грамотей.

– Конечно, я побывала там. Не найдя попугая, я так стонала и плакала, что у меня вроде бы перехватило дыхание. Я попросила у сторожа разрешения посидеть на пороге; этот славный человек пригласил меня войти и предложил стакан воды с вином. «Дайте мне только стакан воды, стакан воды из-под крана, мой добрый господин», – сказала я. Тогда он ввел меня в переднюю... повсюду там ковры; это нам на руку: не будет слышно ни шагов, ни осколков стекла, если придется высадить окно; справа и слева двери с ручками в виде птичьего клюва. Стоит в него дунуть, и дверь откроется... В глубине массивная дверь, запертая на ключ и чем-то похожая на вход в кассу... От нее пахло деньгами!.. Кусок воска был при мне, в корзине...

– У нее с собой был воск, молодой человек... Она никуда не выходит без воска!.. – сказал разбойник.

– Мне необходимо было подойти к двери, от которой пахло деньгами, – продолжала Сычиха. – Тогда я сделала вид, будто меня душит кашель, да такой сильный, что мне пришлось опереться о стену. Услышав, что я кашляю, сторож кричит: «Я положу вам кусок сахара в стакан с водой». Он, видно, пошел за ложкой, потому что я слышала, как смеется столовое серебро... столовое серебро находится в комнате справа... не забудь, чертушка. Продолжая стонать и хныкать, я подхожу к той самой двери... Кусок воска был у меня на ладони... Как ни в чем не бывало я прилепила его к замочной скважине. Вот отпечаток. Не пригодится сегодня, пригодится в другой раз...

И Сычиха отдала разбойнику кусок желтого воска, на котором был ясно виден отпечаток врезного замка.

– А теперь вы должны нам сказать, действительно ли эта дверь ведет в комнату, где лежат деньги? – спросила Сычиха.

– Да, именно там спрятаны деньги!.. – ответил Родольф и подумал: «Неужели Мэрф был одурачен этой старой мегерой? Вполне возможно; он ждет нападения только к десяти часам... тогда все предосторожности будут приняты».

– Но не все деньги находятся в этой комнате, – продолжала Сычиха, и ее зеленый глаз сверкнул, – подходя к окнам в поисках Кокот, я видела в одной из комнат слева от входной двери на письменном столе мешочки с золотыми монетами... Я их видела так же ясно, как вижу тебя, муженек... Мешочков было не меньше дюжины.

– Где Хромуля? – неожиданно спросил Грамотей.

– Он все еще сидит в своей дыре, в двух шагах от садовой калитки... Он видит в темноте, как кошка. А в доме семнадцать только и есть что этот вход. Когда мы отправимся на аллею Вдов, он нас предупредит, если кто-то побывал там после меня.

– Ладно.

И, едва успев произнести это слово, Грамотей неожиданно кинулся на Родольфа, схватил его за горло и сбросил в люк, находившийся позади стола, за которым они сидели.

Нападение это было так молниеносно, внезапно, так сокрушительно, что Родольф не мог ни предвидеть его, ни избежать.

С испугу Сычиха громко вскрикнула, ибо сначала она не поняла, чем кончилась эта мгновенная схватка.

Когда умолк шум падения Родольфа, скатившегося по ступеням лестницы, Грамотей, великолепно знавший все ходы этого подземного царства, медленно спустился вниз, прислушиваясь к малейшему шороху.

– Чертушка... будь осторожен!.. – крикнула одноглазая, нагнувшись над открытым люком. – Держи наготове кинжал!

Разбойник ничего не ответил и исчез в подвале.

Сперва ничего не было слышно; но вскоре донесся издали звук заржавленной двери, глухо заскрипевшей в подземелье, и снова наступила тишина.

В зале было темно, хоть глаз выколи.

Сычиха порылась в своей корзине, вынула оттуда серную спичку и, когда от трения та загорелась, зажгла маленькую свечку, слабо осветившую мрачную залу.

В эту минуту зловещая физиономия Грамотея появилась в отверстии люка.

У Сычихи вырвался крик ужаса при виде этого бледного, жуткого, изуродованного, покрытого шрамами лица с неестественно светящимися глазами, лица, словно плывшего во мраке, который слабый свет свечи не мог разогнать...

Немного оправившись от потрясения, старуха воскликнула в порыве омерзительного восхищения:

– До чего же ты ужасен, муженек, ты напугал меня... Даже меня.

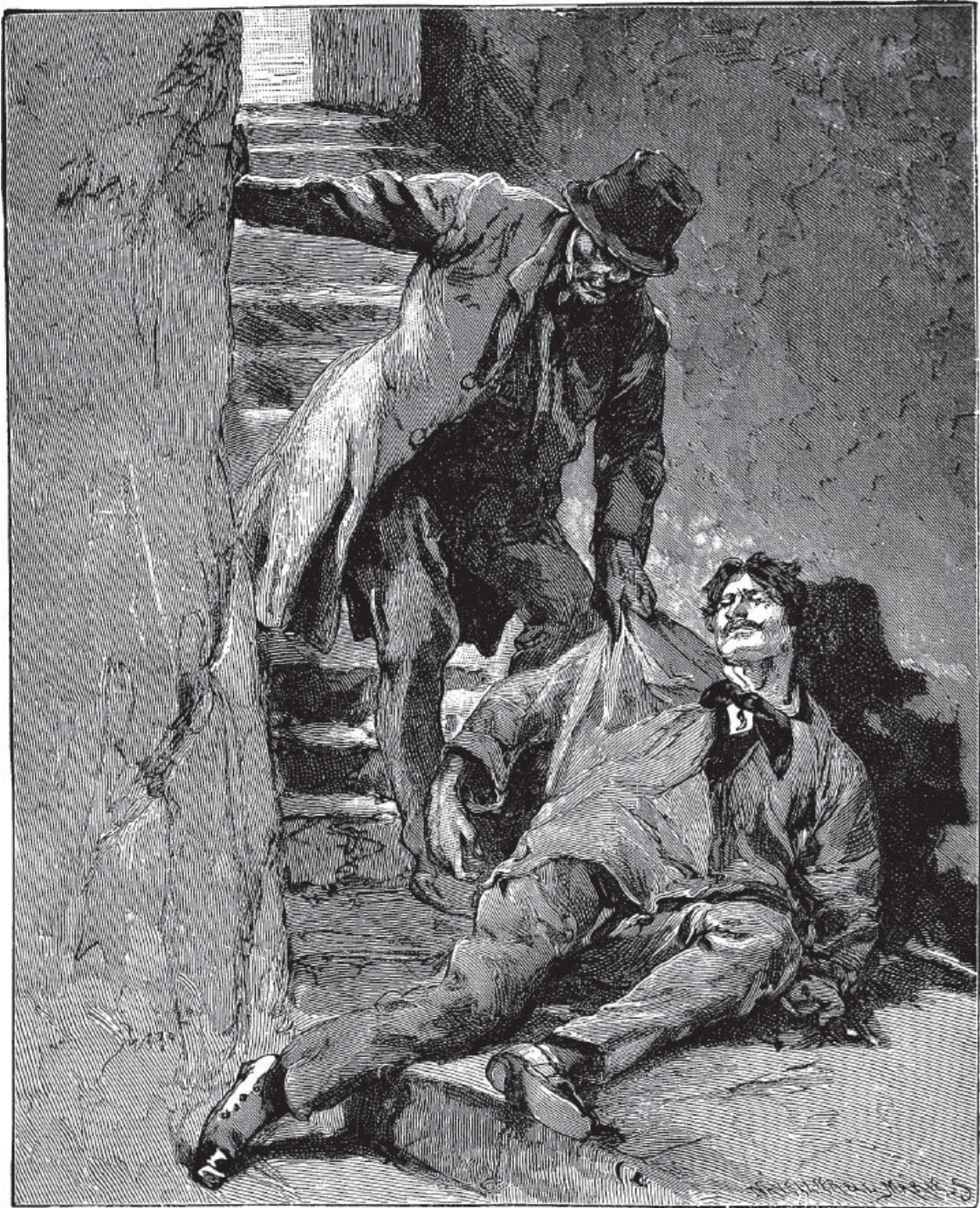
– Скорей, скорей!.. На аллею Вдов, – сказал разбойник, закрывая люк на железный засов, – через час, возможно, будет поздно! Если это ловушка, она еще не поставлена, если ее нет, мы справимся и сами.

## Глава XVIII

### Погреб

После своего головокружительного падения Родольф остался лежать без чувств внизу лестницы.

Грамотей дотащил его до другого подземного помещения, еще более глубокого, сбросил туда и запер за ним окованную железом толстую дверь; затем он вернулся за Сычихой, чтобы совершить вместе с ней кражу, а быть может, и убийство на аллее Вдов.



*Грамотей дотащил его до другого подземного помещения, еще более глубокого...*

Прошло около часа, и Родольф стал понемногу приходить в себя; он лежал на земле в полном мраке; пошарив руками возле себя, он нащупал каменные ступени. Почувствовав холод у своих ног, протянул руку... Там оказалась лужа.

С огромным усилием ему удалось сесть на нижней ступеньке лестницы; дурнота проходила; он ощупал себя. К счастью, переломов не было. Он прислушался... ничего не услышал... кроме какого-то непонятного журчания, глухого, слабого, непрерывного.

Сперва он не понял, в чем дело.

Но по мере того, как голова его прояснялась, обстоятельства неожиданного нападения, жертвой которого он стал, всплыли в его памяти. Еще немного, и он восстановил бы сцену до мельчайших подробностей, но тут ноги его снова оказались в воде; он наклонился, вода доходила ему уже до щиколоток.

И среди гнетущей тишины он опять услышал журчание, глухое, слабое, непрерывное...

Тогда он все понял: погреб наполнялся водой... Вода в Сене поднялась так высоко, что эта часть подземелья оказалась ниже ее уровня...

Опасность окончательно вывела Родольфа из оцепенения; с молниеносной быстротой он поднялся по лестнице. Дойдя до ее верхней ступеньки, он наткнулся на дверь, но напрасно попытался распахнуть ее: она не шелохнулась.

В своем безнадежном положении он прежде всего подумал о Мэрфе.

– Если тот не принял мер предосторожности, изверг убьет его... И это я, – вскричал он, – я сам буду тому виной!.. Бедный Мэрф!..

Эта страшная мысль удвоила силы Родольфа; упершись ногами в каменную ступеньку, согнувшись в три погибели, он попытался открыть дверь – напрасно: она не поддавалась...

В надежде найти какой-нибудь рычаг он снова спустился; на предпоследней ступеньке два-три животных, мягких, эластичных, выкатились у него из-под ног: это были крысы, которых вода выгнала из нор.

Родольф ощупью обследовал погреб, ступая по воде, которая доходила ему уже до половины икр. Он ничего не нашел и в мрачном отчаянии медленно поднялся по лестнице.

Он сосчитал ступеньки, их оказалось тринадцать; три уже были затоплены.

Тринадцать! Роковое число!.. В иных положениях люди самые стойкие не застрахованы от суеверий. В числе «13» Родольф узрел дурное предзнаменование. Мысль о возможной гибели Мэрфа снова пришла ему в голову. Он напрасно попытался обнаружить какую-нибудь щель под дверью; от влаги деревянная ее часть разбухла и крепко-накрепко врезалась в сырую жирную почву.

Родольф принялся громко кричать, полагая, что его голос будет услышан посетителями кабака; потом прислушался...

Он ничего не услышал, ничего, кроме журчания воды, глухого, слабого, непрерывного; вода все поднималась.

Родольф сел в изнеможении у двери, прислонился к ней спиной, сокрушаясь об участи своего друга, который, быть может, в эту самую минуту боролся с вооруженным убийцей. Он горько пожалел о своих неосторожных и смелых планах, несмотря на их великодушные побуждения. И с болью в сердце припомнил бесчисленные доказательства преданности Мэрфа, человека богатого, почитаемого, который оставил жену, любимого ребенка, дорогие его сердцу занятия, чтобы последовать за Родольфом и помочь ему в деле мужественного, хотя и странного искупления своей вины.

Вода все поднималась... Сухими оставались только пять ступенек. Встав во весь рост около двери, Родольф коснулся головой свода подземелья. Он мог заранее высчитать продолжительность своей грядущей агонии. Смерть его будет медленной, безмолвной, мучительной.

Он вспомнил о пистолете, который носил при себе. Если стрелять из него в упор по двери, быть может, удастся расшатать ее, правда, с риском поранить себя... Какое несчастье! Во время падения оружие это либо потерялось, либо было взято Грамотеем.

Не опасайся Родольф за участь Мэрфа, он ждал бы смерти с ясной душой... Он многое испытал в жизни... Он страстно любил... Он делал добро людям, ему хотелось сделать его больше, Бог все знает! Не ропща против вынесенного ему приговора, Родольф видел в нем справедливое наказание за роковой поступок, который он еще не успел искупить; перед лицом опасности мысли его становились чище, возвышеннее.

Но тут его покорность судьбе подверглась новому испытанию.

Гонимые водой крысы поднимались со ступеньки на ступеньку. Им никак не удавалось взобраться по отвесной стене или двери, и, не находя иного выхода, они стали карабкаться по одежде Родольфа. Трудно вообразить себе гадливость, омерзение Родольфа, когда он почувствовал прикосновение множества крыс. Он попробовал смахнуть их, но острые холодные зубы тут же впились в его руки, брызнула кровь... Во время падения его блуза и куртка порвались, и он почувствовал на своей голой груди ледяные лапы и волосатое тело. Он отрывал от себя этих гнусных тварей, но они возвращались к нему вплавь.

Он снова попробовал кричать, но никто его не услышал... Скоро он уже не сможет кричать: вода дошла до шеи, еще немного, и поднимется до губ.

В этом сузившемся пространстве Родольфу не хватило воздуха; появились первые признаки удушья: усиленно билась кровь в висках, кружилась голова, скоро настанет смерть. Он в последний раз подумал о Мэрфе и обратил свои помыслы к Богу не для того, чтобы молить Его о спасении, а чтобы вручить Ему свою душу.

В эту последнюю минуту, готовясь покинуть не только все, что делает жизнь счастливой, блестящей, завидной, но и громкий титул, верховную власть... вынужденный отказаться от дела, которое, удовлетворяя одновременно две его страсти: любовь к добру и ненависть к злу, — могло послужить ему, когда придет время, во искупление совершенных им грехов, находясь перед лицом ужасной смерти... Родольф не поддался ни приступам неистовства, ни бессильного гнева, когда слабодушные люди поочередно обвиняют или проклинают людей, судьбу, Бога.

Нет, не поддался: пока сознание его было ясно, Родольф ожидал своей участи с покорностью и благоговением... Когда же, во время агонии, оно померкло, заговорил инстинкт самосохранения, и Родольф стал бороться, если можно так выразиться, физически, а не морально с надвигающейся смертью.

Головокружение затянуло все мысли Родольфа в свой стремительный и жуткий водоворот; вода бурлила у его ушей; ему казалось, будто он вращается вокруг самого себя; последний проблеск разума готов был померкнуть, когда поспешные шаги и звук голосов раздались за дверью погреба.

Надежда пробудила угасающие силы; с неимоверным усилием воли он заставил себя уловить несколько слов, последних, которые он услышал и понял:

— Сам видишь, здесь никого нет.

— Дьяволыщина! Ты прав, — грустно ответил голос Поножовщика, и шаги стали удаляться.

Родольф, окончательно сраженный, уже не мог держать голову над водой, еще минута — и он соскользнул бы вниз по лестнице.

Неожиданно дверь погреба распахнулась, скопившаяся в нем вода хлынула в подземелье, словно из отверстия шлюза... и Поножовщику удалось схватить под руки Родольфа, который чуть живой судорожно цеплялся за порог двери.



*Головокружение затянуло все мысли Родольфа в свой стремительный и жуткий водоворот; вода бурлила у его ушей...*

## Глава XIX

### Брат милосердия

Спасенный от верной гибели Поножовщиком и перенесенный в дом на аллее Вдов, обследованный Сычихой до попытки ограбления, Родольф лежит в уютно обставленной комнате; жаркий огонь горит в камине; лампа, стоящая на комод, разливает вокруг яркий свет; кровать Родольфа под пологом из зеленой шелковой ткани окружена полумраком.

Негр среднего роста с седыми волосами и бровями, изысканно одетый, с зелено-оранжевой лентой в петлице синего фрака, держит в левой руке золотые часы с секундной стрелкой, а правой шупает пульс Родольфа.

Негр печален, задумчив; он смотрит на спящего Родольфа с выражением нежнейшего участия.

Поножовщик, в лохмотьях, покрытый грязью, неподвижно стоит у изножья кровати, опустив руки и сцепив пальцы; его рыжая борода давно не стрижена, густые белесые волосы растрепаны и мокры, топорное загорелое лицо сурово, но сквозь эту грубую оболочку проглядывает непередаваемое выражение участия и жалости... Едва осмеливаясь дышать, он сдерживает движение своей широкой груди; он встревожен сосредоточенным видом доктора, опасается худшего и, не сводя глаз с Родольфа, высказывает шепотом следующее философское замечание:

– Какой он сейчас слабый, никто не подумал бы, что он так лихо обрушил на меня град ударов под конец драки!.. Ничего, он скоро встанет на ноги... правда, господин доктор? Ей-богу, я не прочь, чтобы он выстукал на моей спине барабанную дробь в честь своего выздоровления... это взбодрило бы его... правда, господин доктор?

Негр молча поднял руку.

Поножовщик умолк.

– Микстуру! – сказал врач.

Поножовщик, который почтительно оставил у порога свои башмаки на шипах, устремился на цыпочках к комоду; но, стараясь ступать как можно легче, он так утомительно поднимал ноги, покачивал для равновесия руками и пригибался к полу, что при других обстоятельствах его ужимки показались бы весьма забавными. Бедный малый, казалось, пытался сосредоточить всю тяжесть своего тела в верхней его части, которая не касалась пола; но, несмотря на ковер, паркет предательски скрипел под тяжестью Поножовщика. Увы, в своем усердии, а также из страха выронить прозрачный пузырек, который он бережно держал в своей широченной руке, Поножовщик так сильно сжал его, что раздавил стекло, и микстура пролилась на пол.

При виде такой беды Поножовщик застыл на месте с поднятой массивной ногой, пальцы которой были нервно поджаты, переводя смущенный взгляд с доктора на горлышко пузырька, оставшееся у него в руке.

– Чертов растяпа! – нетерпеливо воскликнул врач.

– Дьяволыщина! Какой же я болван! – прибавил Поножовщик, обращаясь к самому себе.

– К счастью, – сказал эскулап, взглянув на комод, – вы спутали пузырьки, мне нужен другой...

– Маленький, красноватый? – тихо спросил незадачливый брат милосердия.

– Конечно... Другого там нет.

Быстро повернувшись на пятках по старой военной привычке, Поножовщик раздавил осколки пузырька: будь подошвы его ног не столь загрубелыми, он сильно поранился бы; но на бывшем грузчике были природные сандалии, крепкие, как лошадиные копыта!

– Будьте осторожны, вы пораните себе ноги! – воскликнул врач.

Но Поножовщик не обратил ни малейшего внимания на это предупреждение. Глубоко озабоченный новым поручением, он решил выполнить его с честью, чтобы замаять свою первую оплошность; надо было видеть, с какой осторожностью, с какой легкостью, с каким чувством ответственности он взял толстыми пальцами хрупкий пузырек! Бабочка и та не оставила бы ни атома своей золотистой пыльцы между большим и указательным пальцами Поножовщика.

Врач испугался нового инцидента, который мог случиться из-за чрезмерной осторожности брата милосердия. К счастью, микстура не пострадала. Поножовщик благополучно приблизился к кровати, передавив ногами остатки первого пузырька.

– Несчастный, вы что же, хотите окончательно покалечить себя? – тихо спросил врач.

Поножовщик взглянул на него с недоумением.

– Покалечу себя, господин доктор?

– Вы дважды прошли по осколкам стекла.

– Если дело только в этом, не беспокойтесь... Подошвы ног у меня из той же кожи, что и доски.

– Принесите чайную ложку! – сказал врач.

Поножовщик вновь принялся за свои эквилибристические упражнения и отдал врачу требуемый предмет... После нескольких ложечек микстуры Родольф открыл глаза и слабо пошевелил руками.

– Хорошо! Очень хорошо! Он выходит из забытья, – сказал доктор, – кровопускание пошло ему на пользу, он вне опасности.

– Спасен! Браво! Да здравствует хартия! – воскликнул Поножовщик в приливе радости.

– Замолчите и не суетитесь! Прошу вас, – сказал негр.

– Да, господин доктор.

– Пульс улучшается... Превосходно!.. Превосходно!..

– А его бедный друг, господин доктор? Дьявольщина! Когда он узнает, что... Хорошо еще, что...

– Замолчите!

– Да, господин доктор.

– Садитесь.

– Но, господин док...

– Садитесь, говорят вам! Вы мешаете мне: слоняетесь по комнате и отвлекаете мое внимание от больного. Ну же, садитесь.

– Господин доктор, я грязнее, чем бревно, вытасченное из воды при сплаве; я замараю мебель.

– Тогда садитесь на пол.

– Я замараю ковер.

– Делайте что хотите, но, бога ради, не торчите у меня перед глазами, – сказал нетерпеливо врач; и, опустившись в кресло, он прижал руки ко лбу.

Не столько от усталости, сколько из желания повиноваться врачу, Поножовщик с величайшими предосторожностями взял стул, с довольной миной перевернул его и поставил спинкой на ковер; ему хотелось прилично и скромно посидеть на передних ножках стула, дабы не испачкать обивки сиденья, что он и проделал с величайшей осторожностью... К несчастью, Поножовщик был плохо знаком с физическими законами о рычаге первого и второго рода и о равновесии тел. Стул покачнулся, бедняга невольно вытянул руки и перевернул круглый столик, на котором стоял поднос с чашкой и чайником.

Раздался оглушительный шум, негр вскинул голову и подпрыгнул в кресле, внезапно проснувшийся Родольф выпрямился, с беспокойством оглядел комнату и, собравшись с мыслями, воскликнул:

– Мэрф, где же Мэрф?

– Не беспокойтесь, ваше высочество, – почтительно проговорил негр, – я твердо надеюсь на его выздоровление.

– Он ранен? – воскликнул Родольф.

– Увы, монсеньор.

– Где он? Я хочу его видеть.



*Мэрф*

И Родольф попытался встать, но тут же откинулся на подушки, побежденный болью от ушибов, которые дали себя знать вместе с его пробуждением.

– Сию же минуту отнесите меня к Мэрфу, раз я не могу ходить! – воскликнул он.

– Монсеньор, он спит... Было бы опасно волновать его в таком состоянии.

– Ах, вы меня обманываете!.. Он умер... Его убили!.. И я всему виной!!! – воскликнул Родольф душераздирающим голосом, воздевая руки к небу.

– Монсеньор, вам известно, что я не умею лгать... Честью клянусь, что Мэрф жив... Он довольно серьезно ранен, это правда, но у него имеются все шансы на выздоровление.

– Вы говорите все это, чтобы подготовить меня к ужасной вести... По всей вероятности, его состояние безнадежно!

– Монсеньор...

– Уверен в этом... Вы меня обманываете... Я требую, чтобы меня сию же минуту отнесли к нему... Вид друга всегда действует благотворно...

– Ручаюсь вам честью, монсеньор, здоровье Мэрфа скоро пойдет на поправку, если не случится ничего непредвиденного, что маловероятно.

– Это правда, правда, дорогой Давид?

– Да, монсеньор.

– Выслушайте меня, вы знаете, как я уважаю вас; с тех пор как вы принадлежите к моему дому, я всегда полностью доверял вам... никогда не сомневался в ваших редких знаниях... Но, заклинаю вас, если нужна врачебная консультация...

– Об этом я подумал прежде всего, монсеньор. Но в настоящую минуту консультация бесполезна, можете верить мне на слово... К тому же мне не хотелось бы вводить в дом посторонних, пока вы не подтвердите, остаются ли в силе ваши вчерашние...

– Как же все это случилось? – спросил Родольф, перебивая негра. – Кто вытащил меня из погреба, где я чуть не захлебнулся?.. Я смутно припоминаю, что слышал голос Поножовщика, или мне это почудилось?

– Нет, нет! Этот превосходный человек сам все расскажет вам, монсеньор... ибо он спас и вас и Мэрфа.

– Но где же он, где?

Врач поискал глазами самозваного брата милосердия, который, стыдясь того, что натворил в комнате, спрятался за пологом кровати.

– Вот он, – сказал врач, – вид у него пристыженный.

– Ну же, подойди ко мне, герой! – сказал Родольф, протягивая руку своему спасителю.

## Глава XX

### Рассказ поножовщика

Смушение Поножовщика усилилось еще и оттого, что он слышал, как врач величает Родольфа «монсеньором».

– Да подойди же... Дай мне руку! – молвил Родольф.

– Извините, сударь... Нет, я хотел сказать, монсеньор... Но...

– Называй меня, как обычно, господином Родольфом, мне это больше по душе.

– И мне тоже, я не стану так робеть... Но что до моей руки, извините... Я столько делов наделал за этот день...

– Руку, говорят тебе!

Побежденный настойчивостью Родольфа, Поножовщик робко протянул ему грязную мозолистую руку... Родольф крепко пожал ее:

– Ну же, садись и рассказывай... как ты отыскал погреб? Да, совсем забыл, что случилось с Грамотеем?

– Он здесь, в надежном месте, – ответил врач.

– Он и Сычиха... скручены, как две связки табачных листьев... Представляю себе, какие рожи они корчат, если им придет охота взглянуть друг на друга. Здорово небось раскаиваются теперь.

– А мой бедный Мэрф! Боже мой! Я только сейчас подумал об этом. Скажите, Давид, куда он ранен?

– В правый бок, монсеньор... К счастью, удар пришелся в область последнего ложного ребра...

– О, я отомщу! Мне нужна грозная месть!.. Давид, я рассчитываю на вас.

– Вы знаете, монсеньор, что я вам предан душой и телом, – холодно ответил негр.

– Но как тебе удалось поспеть сюда вовремя, любезный? – спросил Родольф у Поножовщика.

– Если вы хотите, монсень... нет, господин Родольф... я начну с самого начала.

– Ты прав; слушаю тебя.

– Ладно... Вы помните, что вчера вечером вы мне сказали, вернувшись из деревни, куда отвезли бедную Певунью: «Постарайся разыскать в Сите Грамотея; ты скажешь ему, что знаешь об одном деле, в котором не хочешь принимать участия, и предложишь ему заменить тебя. Для этого он должен прийти на следующий день (то есть сегодня утром) в «Корзину цветов» у заставы Берси, где и встретит того, кто вскормил дитя<sup>63</sup>».

– Правильно!

– Расставшись с вами, я побежал в Сите... Захожу к Людоедке – никаких следов Грамотея; иду на улицу Святого Элигия, на Бобовую улицу, на Суконную улицу... никого. Наконец я застукал его с этой стервой Сычихой на площади собора Парижской Богоматери у дрянного портняжки, перекупщика, скупщика краденого и вора; они собирались просадить деньги, украденные у высокого мужчины в трауре, который хотел насолить вам; покупали какие-то случайные вещи; Сычиха торговалась из-за красной шали... У, старая образина!.. Я выкладываю все по порядку Грамотею. Он соглашается и говорит, что придет на свидание. Ладно! По вашему вчерашнему приказанию прибегаю к вам сегодня утром на аллею Вдов, чтобы передать ответ... Вы говорите мне: «Вот что, парень, возвращайся сюда завтра до рассвета, ты проведешь весь день здесь, а вечером... увидишь зрелище, на которое стоит посмотреть...» Вы не

---

<sup>63</sup> Кто подготовил ограбление.

сказали мне ни словечка больше, но я кое-что смекнул и говорю себе: «Дело идет о какой-нибудь шутке, которую хотят сыграть завтра с Грамотеем, приманив его под видом выгодного дельца. Таких мерзавцев, как он, поискать... Он уколошил торговца скотом... и, говорят, убил еще кого-то на улице Профессора Руля... Я примкну к этой шутке».

– Моя ошибка была в том, приятель, что я не все сказал тебе... Иначе этого ужасного несчастья могло бы не случиться.

– То была ваша воля, господин Родольф, мое дело – служить вам... потому что... словом, я сам не понимаю, как это получилось, но я чувствую себя вроде как вашим бульдогом, но довольно об этом, молчок... Итак, я сказал себе: «Завтра будет свалка, сегодня я свободен, господин Родольф оплатил мне те два дня, что я не был на работе, а также два последующие дня; я уже три дня не появлялся у своего подрядчика, а работа для меня... это хлеб, ибо я не миллионер. Кстати сказать, – продолжаю я разговор с самим собой, – господин Родольф оплачивает время, которое я трачу на него, значит оно принадлежит ему и надо употребить его с пользой». – И в голову мне приходит такая мысль: Грамотей – хитрец, он, наверное, опасается ловушки. Господин Родольф договорится с ним на завтрашний день, что правда, то правда; но этот скот вполне может прийти сюда сегодня, побродить по окрестностям и осмотреть место действия; если он не доверяет господину Родольфу, то приведет для подмоги какого-нибудь вора или же назначит господину Родольфу завтрашний день и все обтяпает сегодня на свой страх и риск.

– Ты правильно обо всем догадался... так оно и случилось... И Провидение восхотело, чтобы я был обязан тебе жизнью.

– Поразительное дело, господин Родольф, с тех пор как я вас знаю, со мной приключаются вещи, как бы задуманные там, наверху! А с тех пор как вы мне сказали: «Молодец, ты сохранил и мужество и честь», у меня появились мысли, которых никогда не было прежде. Мужество! Честь! Дьявольщина, от этих слов у меня что-то переворачивается в брюхе. Знаете, господин Родольф, когда привыкнешь, что при твоём приближении честные люди шарахаются от тебя, словно от волка или бешеной собаки...

– Значит, за последние дни у тебя появились новые для тебя мысли?

– Понятно, господин Родольф. Вот что я еще подумал: если я теперь встречу человека, сделавшего спьяну или со злости какую-нибудь пакость, словом, не важно что... я скажу ему: «Послушай, парень, ты сделал гадость, ладно. Но это еще не все. Господь Бог посылает людям напасти не для того, чтобы им помогал прусский король; так вот сделай мне одолжение и, если ты зарабатываешь сорок су, отдавай двадцать неимущим старикам или маленьким детям, словом, тем, кто несчастнее тебя, у кого нет ни хлеба, ни сил... и, главное, не забудь, парень, если тебе встретится человек, которого надо спасти, рискуя своей шкурой, это твоя обязанность, и только твоя!!! При этом условии и если ты откажешься от своих глупостей, ты всегда найдешь помощника во мне...» Но, простите, господин Родольф, я все болтаю и болтаю, а вам, верно, интересно узнать...

– Нет, мне нравится, когда ты так говоришь. Кроме того, я всегда успею узнать, как случилось ужасное несчастье, жертвой которого оказался мой бедный Мэрф... Я был уверен, что не отойду ни на шаг, ни на минуту от Грамотея во время этой опасной затеи... Он мог бы нанести мне множество ран, убить меня... прежде чем добраться до Мэрфа. Увы, судьба судила иначе... Продолжай, приятель.

– Итак, положив употребить свое время на вас, господин Родольф, я говорю себе: «Надо бросить якорь где-нибудь поблизости, откуда я увижу ограду и, главное, садовую калитку – это единственный вход в дом... Если я найду уютный уголок... ведь идет дождь, то останусь там весь день и, конечно, всю ночь, а рано утром смогу обо всем доложить...» Я сказал себе это ровно в два часа, в Батиньоле, куда забежал заморить червячка, после того как ушел от вас, господин Родольф... Возвращаюсь на аллею Вдов... Ищу, где бы мне угнестись... И что же я

вижу? Маленький кабачок в десяти шагах от вашей двери... Я занимаю столик в первом этаже, около окна, заказываю литр вина и четверть фунта орехов и говорю, что ожидаю друзей... горбуна с высокой женщиной; это я выдумал для правдоподобия. Итак, я сижу за столиком и не спускаю глаз с вашей калитки... Дождь льет без передыха; на улице – никого, приближается ночь.

– Почему ты не зашел ко мне в дом? – перебил Поножовщика Родольф.

– Вы же велели прийти на следующий день утром, господин Родольф... Я не посмел явиться раньше. Не то вы приняли бы меня за подлипалу, как говорят у нас в пехоте... Ведь я же бывший каторжник, а когда такой человек, как вы, обращается со мной так, как обращаетесь вы, господин Родольф... Не надо подходить к нему, пока он не скажет: «Поди сюда». Вот если я увижу паука на воротнике вашего костюма, я сниму его и раздавлю, не спрашивая вашего разрешения... Понимаете? Итак, я сидел у окна кабачка, щелкал орехи и попивал дрянное вино, когда увидел в тумане Сычиху с Хромулей, мальчонком Краснорукого.

– Краснорукого! Так, значит, он хозяин подземного кабака на Елисейских полях? – воскликнул Родольф.

– Да, господин Родольф; а вы этого не знали?

– Нет, я думал, что он живет в Сите...

– Он и там живет, он всюду живет... Краснорукый – тонкая бестия и отъявленный мерзавец, уж поверьте мне, стоит только взглянуть на его желтый парик и острый нос. Словом, я вижу Сычиху и Хромулю и говорю себе: «Дело будет жаркое». В самом деле, Хромуля залез в канаву, против вашего дома, будто бы спрятался от дождя, и затаился там... Сычиха снимает чепец, кладет его в карман и звонит в калитку. Бедный господин Мэрф, ваш друг, открывает калитку одноглазой, и она принимается бегать по саду, воздевая руки к небу. Как я ни ломал себе башку, никак не мог отгадать, для чего она явилась сюда. Наконец Сычиха выходит на улицу, надевает чепец, что-то говорит Хромуле, и тот опять залезает в свою дыру, а Сычиха убирается прочь. Погоди, говорю я себе, как бы мне не сбиться с толку. Хромуля пришел с Сычихой; Грамотей и господин Родольф находятся, видно, у Краснорукого. Сычиха приходила сюда что-то расчухивать<sup>64</sup>; ясно, что они совершат ограбление сегодня вечером, и господин Родольф, который не ожидает этого, попадет впросак... Если господин Родольф попадет впросак, мне надо сходить к Краснорукому и узнать, чем там пахнет; да, но за это время сюда припрется Грамотей... правильно. Ничего не поделаешь, я войду в дом и скажу господину Мэрфу: «Будьте осторожны...» Да, но этот слизняк Хромуля засел около калитки, он услышит звонок, увидит меня, предупредит Сычиху; если она вернется сюда... все будет испорчено... тем более что у господина Родольфа могут быть другие намерения на сегодняшний вечер... Дьявольщина! Эти «да» и «но» вертелись у меня в голове... Я совсем одурел, растерялся, не знал, как быть; выйду-ка я на свежий воздух, подумал я, быть может, в голове у меня прояснится. Выхожу... В голове проясняется: снимаю блузу и галстук, прыгаю в канаву, где притаился Хромуля, хватаю мальчишку за загривок; как он ни отбивается, ни царапается, ни пищит... запихиваю его в свою блузу, словно в мешок, завязываю один конец рукавами, другой – галстук, но так, чтобы мальчонка мог дышать; беру сверток под мышку, вижу поблизости огород, обнесенный невысокой оградой, и бросаю Хромулю среди морковных грядок; он продолжает верещать, но глухо, как молочный поросенок, словом, его и за два шага не услышишь... Возвращаюсь бегом, как раз вовремя! Залезаю на одно из высоких деревьев аллеи, как раз против вашей калитки и над канавой, где прятался Хромуля. Десять минут спустя слышу шаги, дождь все идет. Кругом темно, так темно, что *пекарь* мог бы наступить на собственный хвост. Прислушиваюсь, узнаю голос Сычихи. «Хромуля... Хромуля!..» – тихонько зовет она. «Попробуй поищи своего Хромулю! Идет дождь, мальчишке, верно, надоело ждать, если поймаю его, сдеру с него

<sup>64</sup> Выведывать.

шкуру!!!» – говорит Грамотей, ругаясь. «Чертушка, будь начеку, – замечает Сычиха. – Быть может, он побежал предупредить нас... А что, если это ловушка?.. Ведь парень хотел приняться за дело лишь в десять часов». – «Вот именно, – отвечает Грамотей, – а теперь только семь. Ты видела деньги... Кто не рискует, тот не выигрывает; дай мне ломик и отмычку».

– Откуда у него эти инструменты? – спросил Родольф.

– Взял у Краснорукого. О, у него в доме есть все, что угодно.

Не прошло и минуты, как калитка отперта. «Оставайся здесь, – говорит Грамотей Сычихе, – и работай сигналом<sup>65</sup>, если что-нибудь услышишь». – «Продень стилет в петлицу жилета, чтобы он был у тебя под рукой», – просит одноглазая. Грамотей входит в сад. Я говорю себе: «Господина Родольфа нет с ними; жив он или мертв в эту минуту, я ничем не могу ему помочь, но друзья наших друзей – наши друзья...» О, простите меня, монсеньор!

– Продолжай, продолжай. Что же дальше?

– Я говорю себе: «Грамотей может уколошить господина Мэрфа, друга господина Родольфа, который ничего дурного не ожидает. Вот тут и находится самая горячая точка. Прыгаю с дерева рядом с Сычихой и отвешиваю ей два удара кулаком... отборных удара... Не охнув, она бухается на землю... Я вхожу в сад... Дьявольщина, господин Родольф!.. Было слишком поздно...

– Бедный Мэрф!..

– Услышав скрип калитки, он, верно, вышел из передней и теперь, раненный, боролся с Грамотеем на крылечке, но не сдавался, не звал на помощь. Молодчина! Он как хороший пес – кусается, но не лает. Подумав так, я бросился в общую кучу и схватил Грамотея за ногу, единственное место, до которого можно было добраться. «Да здравствует хартия! Это я, Поножовщик! Расправимся с ним на пару, господин Мэрф!» – «Это ты, злодей! Откуда взялся?» – кричит мне Грамотей, обалдевший при моем появлении. «До чего же ты дотошный», – отвечаю я, зажимая его ногу между коленями, и сразу же хватаю руку, ту самую, в которой он держит кинжал. «А что с Родольфом?» – спрашивает господин Мэрф, по мере сил помогая мне.

– Мужественный, замечательный человек, – горестно прошептал Родольф.

– «Не знаю, – говорю я, – возможно, эти скоты его убили». И принимаюсь еще сильнее тузить Грамотея, который пытается ударить меня кинжалом, но я грудью навалился на его правую руку, и он не может ее поднять. «Неужто вы одни здесь?» – спрашиваю я господина Мэрфа, продолжая сражаться с Грамотеем. «Есть тут неподалеку народ, но мне не докричаться», – отвечает он. «А это далеко?» – «Нет, минут десять ходьбы». – «Давайте звать на помощь, прохожие услышат и придут на выручку». – «Нет, раз мы захватили его, пусть остается здесь... Кроме того, я ослабел, я ранен», – говорит мне Мэрф. «Дьявольщина, тогда идите за подмогой, если у вас хватит сил. Я постараюсь удержать его; вытащите нож из его руки и помогите мне прижать его своим телом; хотя он вдвое сильнее меня, ручаюсь, что не упущу злодея, только бы мне зацепить его...» Грамотей ничего не говорит, слышно было, что он дышит тяжело, как выючное животное; но, дьявольщина, какая сила! Господину Мэрфу так и не удалось вырвать кинжал, зажатый в руке злодея, словно в тисках. Наконец, придавив всем своим телом его правую руку, я закидываю руки за его шею и соединяю их... словно собираюсь обнять. Защемить Грамотея было моей давнишней мечтой; после чего я говорю Мэрфу: «Поторопитесь... я жду вас. Если у вас найдется лишний человечек, пошлите его подобрать Сычиху за калиткой, я ее здорово пристукнул». Я остаюсь один на один с Грамотеем. Он знал, что его ожидает.

– Он ничего не знал!.. Да и ты, приятель, не знаешь, – сказал Родольф мрачно, и на лице его появилось то жесткое, чуть ли не свирепое выражение, о котором мы уже говорили.

Поножовщик удивленно взглянул на Родольфа.

<sup>65</sup> Кричи: осторожно!

– Я думаю, что Грамотей подозревал о том, что его ждет... Право, я не хвастаю, но была минута, когда мне пришлось туго. Мы лежали частью на земле, частью на нижней ступеньке крыльца... Я обхватил его шею руками... моя щека касалась его щеки... Был слышен скрежет его зубов. Стемнело... Дождь лил по-прежнему... Лампа, оставленная в передней, слабо освещала нас. Я зажал ногами одну из его ног. Но он был такой здоровенный, что, напрягая низ туловища, поднимал нас обоих на фут от земли. Он пытался укусить меня, но не мог. Никогда еще я не чувствовал себя таким сильным. Дьявольщина! Сердце у меня сильно билось, но не от страха... Я говорил себе: «Я вроде как вцепился в бешеного пса, чтобы помешать ему бросаться на людей». – «Отпусти меня, и я ничего тебе не сделаю», – говорит Грамотей, с трудом переводя дух. «Да ты еще и трус вдобавок, – отвечаю я, – неужто вся твоя храбрость держится на одной силе? Ведь ты не посмел бы убить торговца скотом из Пуасси, будь он сильнее тебя, а?» – «Да, – говорит он, – но я убью тебя, как убил его». С этими словами он так сильно приподнялся и напряг мускулы ног, что отбросил меня в сторону; но я по-прежнему держал его за шею и прижимал к земле его правую руку. Как только ему удалось высвободить ноги, он ловко воспользовался ими и наполовину перевернул меня. Если бы я не держал его руку с кинжалом, мне пришел бы конец. В эту минуту я промазал и ударил левым кулаком не по противнику, а по ступеньке лестницы; пришлось разжать пальцы. Дело мое было дрянь. Я сказал себе: «Я лежу под ним, а он на мне; он убьет меня. Но я ни о чем не жалею... Господин Родольф сказал мне, что у меня есть мужество и честь. Я чувствую, что это правда». Тут я увидел Сычиху, стоящую на крыльце, ее зеленый глаз и красную шаль... Дьявольщина! Я подумал, что это наваждение. «Хитруша! – кричит Грамотей. – Я выронил кинжал; подними его... вот тут... под ним... и ударь... в спину, между лопатками...» – «Погоди, погоди, чертушка, дай мне оглядеться». И вот Сычиха кружит, кружит вокруг нас, как вестница несчастья, какой она всегда была. Наконец она видит кинжал... хочет схватить его... Но так как я лежал ничком, я ударил ее пяткой в живот, и она полетела вверх тормашками; она тут же встает и снова принимается за свое. Я совсем ослаб, но все еще цеплялся за Грамотея; а он снизу так сильно ударял меня по челюсти, что я готов был сдаться, когда увидел не то троих, не то четверых вооруженных парней, сбегавших с крыльца... Господин Мэрф, бледный-пребледный, еле шел, опираясь на врача... Парни хватают Грамотея и Сычиху и связывают их... Но для меня этого было мало. Мне нужен был господин Родольф... Я набрасываюсь на Сычиху – я не забыл о зубе бедной Певуны – и начинаю выкручивать ей руку, повторяя: «Где господин Родольф?» Она держится стойко. После второго раза она выкрикивает: «Он у Краснорукого, в подвале, в „Кровоточащем сердце“...» Ладно... По дороге я хочу прихватить Хромулю, лежащего среди морковных грядок: мне это было по пути... Смотрю... его нет, осталась только моя блуза. Он всю ее изгрыз. Прихожу в «Кровоточащее сердце», беру за горло Краснорукого... «Где молодой человек, который был здесь с Грамотеем?» – «Не сжимай так сильно, я все тебе скажу: над ним хотели подшутить и заперли его в подвале, идем выпустим его». Спускаемся в подвал... Никого... «Он, верно, вышел, когда меня не было поблизости, – говорит Краснорукий, – видишь, его здесь нет...» Вконец опечаленный, я собрался было уйти, но при свете фонаря заметил в глубине подвала другую дверь. Подбегаю к ней, дергаю за ручку на себя и получаю в рожу как бы полное ведро воды. Вижу в воздухе две ваши ослабевшие руки... Вылавливаю вас из воды и приношу сюда на спине, так как послать за извозчиком было некого. Вот и все, господин Родольф... и могу сказать, не хвастая, что я чертовски доволен.

– Я обязан тебе жизнью, друг, и этот долг... я уплачу во что бы то ни стало... Ты – человек мужественный и, конечно, разделишь мои чувства... Я крайне встревожен состоянием Мэрфа, которого ты так отважно спас, и жажду жестоко отомстить тому, кто чуть не убил вас обоих.

– Понимаю, господин Родольф... Схватить вас, бросить в подземелье и отнести бесчувственного в погреб, чтобы утопить там... Право, Грамотей заслужил то, что ему причитается.

Он признался мне, кроме того, что уколошил торговца скотом. Я не доносчик, но, дьявольщина! На этот раз я с легким сердцем схожу за полицией, чтобы она арестовала злодея!

– Давид, узнайте, пожалуйста, как чувствует себя Мэрф, – сказал Родольф, не отвечая Поножовщику. – И сразу возвращайтесь обратно.

– Не знаешь ли, парень, где находится Грамотей?

– Он в зале с низким потолком вместе с Сычихой. Вы пошлете за полицией?

– Нет...

– Вы хотите его отпустить?... Ах, господин Родольф, не делайте этого; такое великодушие ни к чему... Я повторяю то, что уже говорил вам: он бешеный пес... Пожалейте прохожих!

– Он больше никого не укусит... не беспокойся!

– Вы куда-нибудь упрячете его?

– Нет, через полчаса он уйдет отсюда.

– Грамотей?

– Да.

– Один, без жандармов?

– Да...

– Он выйдет отсюда на свободу?

– На свободу...

– Один?

– Да, один.

– Но куда же он пойдет?

– Куда пожелает, – сказал Родольф со зловещей улыбкой, ужаснувшей Поножовщика. Вернулся врач.

– Скажите, Давид... как Мэрф?

– Он дремлет... монсеньор, – грустно ответил тот, – дышит все так же тяжело.

– Положение серьезное?

– Очень серьезное, монсеньор... И все же надежда не потеряна.

– О Мэрф! я отомщу!.. Отомщу!.. – воскликнул Родольф с холодным гневом и, обращаясь к врачу, добавил: – Давид, на два слова.

И он что-то тихо сказал на ухо негру.

Тот вздрогнул.

– Вы колеблетесь? – спросил Родольф. – Однако я часто говорил с вами о своем намерении... Пришло время выполнить его...

– Я не колеблюсь, монсеньор... Я одобряю ваше намерение... Оно предполагает коренную реформу уголовного кодекса, достойную рассмотрения крупнейших криминалистов, ибо такое наказание было бы одновременно... простым... жутким... и справедливым... И как раз в этом случае его следовало бы применить. Не считая злодеяний, за которые этот негодяй был осужден на пожизненные каторжные работы... он совершил еще три преступления: убийство торговца скотом, покушение на жизнь Мэрфа... и на вашу жизнь... Кара справедлива...

– Кроме того, перед ним откроются неограниченные возможности раскаяния... – заметил Родольф. – Хорошо, Давид... вы поняли меня...

– Мы трудимся ради одной и той же цели... монсеньор...

Помолчав немного, Родольф сказал:

– И пять тысяч франков обеспечат его, не так ли, Давид?

– Безусловно, монсеньор.

– Вот что, милый, – сказал Родольф ошеломленному Поножовщику, – мне надо поговорить с господином Давидом, а тебя я попрошу сходить в соседнюю комнату... там, на письменном столе, лежит красный бумажник, возьми из него пять тысяч франков и принеси их мне.

– Для кого же эти пять тысяч франков? – невольно вскричал Поножовщик.

– Для Грамотея... И ты велишь сразу же привести его сюда.

## Глава XXI

### Наказание

Сцена происходит в ярко освещенной гостиной, обитой красной тканью.

Родольф, одетый в длинный черный бархатный халат, который подчеркивает бледность его лица, сидит за большим, покрытым скатертью столом. На столе лежат всевозможные вещи: два бумажника: один был украден Грамотеем у Тома в Сите, другой принадлежит самому похитителю; цепочка из поддельного золота с крошечным скульптурным изображением Святого Духа из лазурита, стилет, еще покрытый пятнами крови Мэрфа, отмычка, которой была отперта калитка, и, наконец, пять билетов по тысяче франков, принесенные Поножовщиком из соседней комнаты.

Доктор-негр сидит с одной стороны стола, Поножовщик – с другой.

Грамотей, так крепко скрученный, что он не может пошевелиться, сидит посреди гостиной в большом кресле на колесиках.

Парни, доставившие сюда преступника, ушли.

Родольф, доктор, Поножовщик и убийца остались одни.

Раздражение Родольфа прошло: он спокоен, печален, сосредоточен – он готовится свершить торжественное и грозное деяние.

Врач задумчив.



*Родольф, доктор, Поножовщик и убийца остались одни.*

Поножовщик охвачен неясным страхом. Он не может оторвать взгляда от Родольфа. Грамотей мертвенно-бледен... он боится...

Обычный арест, возможно, не так испугал бы преступника, его обычная отвага не изменила бы ему перед лицом суда; но окружающая обстановка удивляет, страшит его; он находится во власти Родольфа, которого считал сообщником, способным предать его или дрогнуть в решающую минуту; из-за этого опасения, а также в надежде воспользоваться одному плодами кражи он и решил пожертвовать им...

Зато теперь Родольф кажется ему внушительным, грозным, как само правосудие. Кругом – глубокая тишина.

Слышится только шум дождя, который падает... падает с крыши на мощеную дорожку. Родольф обращается к Грамотею:

– Вы – Ансельм Дюренель... беглый каторжник из Рошфора, куда вы были сосланы навечно... как фальшивомонетчик, вор и убийца.

– Это ложь! Попробуйте доказать это! – говорит Грамотей дрогнувшим голосом, бросая вокруг себя беспокойные, дикие взгляды.

– Вы Ансельм Дюренель!.. Позже вы узнаете в этом. Вы убили и ограбили торговца скотом на дороге в Пуасси.

– Это ложь!

– Позже вы узнаете в этом.

Убийца удивленно взглянул на Родольфа.

– Сегодня ночью вы проникли в этот дом ради грабежа и ранили кинжалом его владельца...

– Вы же сами предложили мне совершить это ограбление! – говорит Грамотей, немного приободрившись, – на меня напали... я защищался.

– Человек, которого вы ранили, не нападал на вас, он был безоружен. Я предложил вам совершить эту кражу... не отрекаюсь. Немного погодя я объясню, зачем мне это понадобилось. Накануне вы обобрали мужчину и женщину в Сите (вот взятый у них бумажник) и предложили им убить меня за тысячу франков!..

– Я слышал это! – воскликнул Поножовщик.

Грамотей взглянул на него с лютой ненавистью.

– Вы сами видите, что толкать вас на преступление не требовалось, – заметил Родольф.

– Вы не следователь, я больше не буду вам отвечать...

– Вот почему я предложил вам совершить это ограбление. Мне было известно, что вы беглый каторжник... вы знали родителей одной несчастной девушки, во многих бедах которой виновата Сычиха, ваша сообщница... Я решил заманить вас сюда под предлогом крупной поживы, единственной приманки, способной вас соблазнить. Как только вы оказались бы в моей власти, я предложил бы вам на выбор, либо передать вас в руки правосудия, и тогда вы головой заплатили бы за убийство торговца скотом...

– Ложь! Я не совершал этого преступления...

– ...Либо тайно выслать вас из Франции в место вечного заточения, где ваша судьба была бы менее тяжелой, чем на каторге; однако в обмен на смягчение вашей участи я потребовал бы от вас сведений, которые мне необходимы. Вы были осуждены на пожизненные каторжные работы и бежали с каторги. Лишая вас возможности вредить себе подобным, я оказал бы услугу обществу, а ваши признания помогли бы мне вернуть в лоно семьи бедную девушку, вся вина которой заключается в неудачно сложившейся жизни. Таков был сначала мой план, план нелегальный, но ваш побег и ваши новые злодеяния поставили вас вне закона... Вчера благодаря откровению свыше я узнал ваше подлинное имя.

– Это ложь! Я не Ансельм Дюренель.

Родольф взял со стола цепочку Сычихи и показал Грамотею маленькую скульптурку из лазурита.

– Святотатство! – грозно воскликнул он. – Подарив ее бесчестной женщине, вы осквернили эту реликвию, реликвию, трижды священную, ибо она перешла к вашему сыну от его матери и бабушки.

Грамотей, изумленный этим открытием, молча опустил голову.

– Вчера я узнал, что пятнадцать лет назад вы похитили вашего сына у его матери, вашей бывшей жены, и что вам одному известно, как сложилась судьба ребенка. Когда я понял, кто вы такой, у меня появилась еще одна причина для того, чтобы захватить вас. Я не хочу мстить вам за себя лично! Этой ночью вы опять пролили кровь ни в чем не повинного человека. Тот, кого

вы серьезно ранили, доверчиво вышел к вам, не подозревая о ваших гнусных намерениях. Он спросил у вас, что вам здесь надобно... «Твои деньги и твоя жизнь!» – ответили вы и ударили его кинжалом.

– Все это поведал мне господин Мэрф, когда я оказывал ему первую помощь, – подтвердил врач.

– Это неправда, он солгал.

– Мэрф никогда не лжет, – холодно заметил Родольф. – Ваши преступления вопиют о мщении. Вы проникли в этот сад незаконным путем, вы ударили кинжалом человека, чтобы обокрасть его, и таким образом совершили еще одно убийство... Вы умрете здесь... Из жалости, из уважения к вашей жене и к вашему сыну мы спасем вас от позора смертной казни... Скажем, что вы погибли во время вооруженного нападения... Подготовьтесь... Ружья заряжены.

Лицо Родольфа было неумолимо.

Грамотей заметил в соседней комнате двоих мужчин, вооруженных карабинами... Его имя было известно, он подумал, что от него хотят избавиться, чтобы предать забвению последние совершенные им злодеяния и спасти от нового позора его семью. Как и все люди, подобные ему, этот человек был столь же труслив, сколь и свиреп. Полагая, что его последний час пробил, он задрожал с головы до ног и крикнул:

– Пощадите!..

– Нет для вас пощады, – сказал Родольф. – Если вас не пристрелят здесь, эшафота вам не миновать...

– Я предпочитаю эшафот... Я проживу по крайней мере еще два или три месяца... Не все ли вам равно, раз я буду наказан? Пощадите меня! Пощадите!

– Но подумайте, ваша жена... ваш сын... носят ваше имя...

– Мое имя уже давно обесчещено... Прожить хотя бы еще неделю... Пощадите!..

– У него нет даже того презрения к жизни, какое встречается у крупных злодеев! – сказал с отвращением Родольф.

– К тому же такая самовольная расправа запрещена законом, – уверенно проговорил Грамотей.

– Законом! – вскричал Родольф. – Законом!.. И вы смеее ссылаться на закон, вы, который уже двадцать лет живете с оружием в руках, открыто восставая против общества?..

Не отвечая, злодей опустил голову.

– Оставьте мне жизнь, хотя бы из жалости! – проговорил он наконец униженно.

– Вы скажете, где находится ваш сын?

– Да... да... Я скажу вам все, что знаю.

– Вы скажете мне, кто родители этой девушки, детство которой было искалечено Сычихой?

– В моем бумажнике имеются документы, которые наведут вас на их следы.

– Где ваш сын?

– Вы не отнимете у меня жизни?

– Прежде всего признайтесь...

– Видите ли, когда вы узнаете... – нерешительно проговорил Грамотей.

– Ты убил его?

– Нет... нет... Я поручил сына одному из моих сообщников, которому удалось бежать, когда я был арестован.

– Что же он сделал с ним?

– Он воспитал его; дал ему знания, необходимые для коммерции, чтобы мы могли воспользоваться... Но я скажу вам всю правду только в том случае, если вы пообещаете не убивать меня.

- И ты еще ставишь условия, мерзавец!
- Нет, нет! Пожалейте меня; прикажите арестовать лишь за сегодняшнее преступление; не говорите о другом. Дайте мне возможность спасти свою голову.
- Итак, ты хочешь жить?
- О да, да! Никогда не знаешь, что может случиться, – невольно вырвалось у злодея. Он уже думал о возможности нового побега.
- Ты хочешь жить, жить во что бы то ни стало...
- Да, жить... Пусть даже в цепях! Хотя бы еще месяц, неделю... О, только бы не умеретьсию минуту...
- Признайся во всех своих преступлениях, и ты будешь жить.
- Буду жить! Правда, правда? Буду жить?
- Послушай, из жалости к твоей жене, к твоему сыну я дам тебе совет: согласишься умереть сегодня...
- О нет, нет, вы отказываетесь от своего обещания, не убивайте меня, жизнь, самая мерзкая, самая ужасная, ничто по сравнению со смертью.
- Ты так решил?
- О да, да...
- Ты так решил?
- Да, и никогда не пожалуюсь на свою участь.
- Что ты сделал со своим сыном?
- Тот друг, о котором я вам говорил, дал ему знания по бухгалтерии, необходимые, чтобы поступить в банк; таким образом сын держал бы нас в курсе некоторых финансовых операций. Так было договорено между нами. Тогда я еще был в Рошфоре и, готовясь к побегу, руководил этим планом посредством зашифрованных записок.
- Этот человек ужасает меня! – воскликнул Родольф, содрогаясь. – Оказывается, существуют преступления, о которых я и не подозревал. Признайся... Признайся же... Зачем ты хотел устроить сына в банк?
- Для того... вы понимаете... чтобы в согласии с нами незаметно войти в доверие к банкиру... помогать нам... и...
- О боже! На что он обрек сына, своего родного сына! – скорбно воскликнул Родольф, с гадливостью закрывая лицо руками.
- Речь шла всего-навсего о фальшивых деньгах! – воскликнул разбойник. – Да и, кроме того, когда мой сын узнал, чего мы ждем от него, он возмутился... После бурной сцены с человеком, воспитавшим его для выполнения наших замыслов, он исчез... С тех пор прошло полтора года... Никому не известно, что с ним случилось... Вы найдете в моем бумажнике перечень шагов, предпринятых воспитателем сына, который во что бы то ни стало хотел разыскать его из боязни, что тот выдаст наше содружество; но след его в Париже был потерян. Последнее местожительство сына – дом номер четырнадцать на улице Тампль, где он известен под именем Франсуа Жермена; адрес тоже находится в моем бумажнике. Как видите, я все сказал, решительно все... Выполните теперь свое обещание и велите арестовать меня только за попытку сегодняшнего ограбления.
- Ну а торговец скотом из Пуасси?
- Доказать это невозможно за отсутствием улик. Я признался только вам, чтобы подтвердить свою добрую волю; на следствии я все буду отрицать.
- Итак, ты признаешься?
- Я был в нищете, не знал, как жить дальше... Совет этот мне дала Сычиха... Теперь я раскаиваюсь... Сами видите, ведь я во всем признался... Ах, если бы у вас хватило великодушия не предавать меня правосудию, я дал бы вам честное слово, что не вернусь к прежней жизни.

– Ты будешь жить, и я не предаю тебя правосудию.

– Так вы прощаете меня? – вскричал Грамотей, не веря своим ушам. – Прощаете?

– Я вершу суд над тобой... и выношу тебе приговор! – воскликнул Родольф громовым голосом. – Я не отдам тебя в руки правосудия, потому что ты попадешь либо на каторгу, либо на эшафот, а этого не должно быть... Нет, не должно... На каторгу? Чтобы ты снова господствовал над тамошним сбродом благодаря своим силе и подлости! Чтобы ты снова мог удовлетворить свою жажду грубого угнетения!.. Чтобы все тебя ненавидели и боялись, ибо у преступников есть своя, особая гордость, и тебе будет льстить сама исключительность твоей низости!.. На каторгу? Нет, нет: твоему железному здоровью нипочем каторжные работы и палка надсмотрщика. Да и, кроме того, цепи можно перепилить, стены пробуравить, через крепостной вал перелезть; и придет день, когда ты сновапустишься в бега, чтобы снова нападать на кого попало, как взбесившийся дикий зверь, отмечая свой путь грабежами и убийствами... ибо никто не застрахован от твоей геркулесовой силы и от твоего ножа; а этого не должно быть, нет, не должно! Но если на каторге ты можешь разбить свои цепи, как же быть, чтобы уберечь общество от твоих злодеяний? Отдать тебя в руки палача?

– Так, значит, вы хотите моей смерти! – вскричал разбойник. – Вот чего вы хотите?

– Твоей смерти? Не надейся на это... Ты так слабодушен... ты так боишься смерти... что никогда не согласишься в ее неизбежность. Благодаря твоей жажде жизни, твоей упрямой надежде ты избежишь мучительного страха при ее грозном приближении! Надежде глупой, бессмысленной!.. Но она все же избавит тебя от искупительного страха смерти, и ты согласишься в нее. Только в руках палача! Но тогда, отупевший от ужаса, ты превратишься в инертное, бесчувственное тело, которое и будет принесено в жертву душам загубленных тобой людей... Этого не должно быть... ты верил бы в спасение до последней минуты... Чтобы ты, чудовище... смел надеяться? Чтобы на стенах одиночной камеры надежда являла тебе свои утешительные, сладостные миражи... до тех пор пока смерть не затуманит твоего зрения? Полно!.. Старик Сатана и тот смеялся бы над этим до упаду!.. Если ты не раскаешься, я не хочу, чтобы ты сохранил надежду в этой жизни...

– Но что сделал я этому человеку?.. Кто он?.. Чего хочет от меня?.. Где я?.. – вскричал Грамотей чуть ли не в бреду.

– Если, напротив, ты нагло, пренебрежительно встретишь смерть, – продолжал Родольф, – то и тогда не следует предавать тебя казни... Эшафот послужил бы тебе кровавыми подмостками, где, по примеру многих других, ты похвалялся бы своей жестокостью... где, забыв о дурно прожитой жизни, ты произнес бы последнее богохульство и осудил бы свою душу на вечные муки!.. Этого тоже не должно быть... Негоже для народа смотреть на осужденного, который шутит со смертью, подтрунивает над палачом и с ухмылкой гасит Божественную искру, вложенную в нас Создателем... Спасение души есть нечто священное. «Нет греха непрощительного – кроме греха нераскаянного», – сказал Спаситель<sup>66</sup>. Но расстояние от суда до эшафота слишком коротко, чтобы ты успел раскаяться. Ты не должен умереть на гильотине.

Грамотей был сражен... В первый раз в жизни он столкнулся с чем-то, что было страшнее смерти... Эти смутные опасения были ужасны...

Доктор-негр и Поножовщик смотрели на Родольфа с тревогой, они слушали, содрогаясь, его звучный, резкий голос, беспощадный, как нож гильотины; сердце их болезненно сжималось.

– Ансельм Дюреньель, – продолжал Родольф, – ты не попадешь на каторгу... Ты не умрешь...

– Но чего же вы хотите от меня?.. Так, значит, вы посланы ко мне из преисподней?

<sup>66</sup> Исаак Сирин. Слово подвижническое. М., 1858, с. 12. (Примеч. перев.)

– Послушай, – сказал Родольф, торжественно вставая, и властно, угрожающе поднял руку. – Ты преступно злоупотреблял своей силой... Я парализую ее... Сильнейшие дрожали перед тобой... Ты будешь дрожать перед слабейшими... Убийца... Ты погружал созданыя Божии в вечную ночь... Вечный мрак наступит для тебя в этой жизни... Сегодня... Сейчас... Такая кара будет, наконец, под стать твоим преступлениям... Но, – продолжал Родольф с горестным сочувствием, – эта страшная кара откроет по крайней мере перед тобой безграничные возможности искупления... Я был бы так же преступен, как ты, если бы покарал тебя из чувства мести, какой бы справедливой она ни была... Твоя кара не будет бесплодна, как смерть... она должна послужить спасению твоей души; вместо того чтобы обречь тебя на вечные муки... Она поможет твоему искуплению... Если, желая обезвредить тебя... я навсегда лишаю тебя великолепия Божьего мира... если погружаю в непроглядную ночь... в одиночество... в воспоминания о своих злодеяниях... то делаю это для того, чтобы ты беспрестанно созерцал весь ужас содеянного тобой... Да, навеки обособленный от внешнего мира, ты вынужден будешь всецело погрузиться в себя... и тогда, надеюсь, твой лоб, отмеченный бесчестием, покраснеет от стыда, твоя душа, очерстевшая от жестокости... растленная преступлением... проникнется чувством сострадания... До сих пор каждое твое слово было богохульством... Придет время, и каждое твое слово будет молитвою... Ты отважен и жесток, ибо чувствуешь свою силу... ты будешь кроток и смирен, ибо почувствуешь свою слабость... Твое сердце было глухо к раскаянию... настанет день, когда ты станешь оплакивать свои жертвы. Ты растлил ум, данный тебе Богом, превратив его в оружие грабежа и убийства... Из человека ты стал хищным зверем... Придет день, и твой ум, очищенный угрызениями совести, пробудится благодаря покаянию... Ты не берег то, что берегут даже звери, – своих самок и детенышей... После долгой жизни, посвященной искуплению грехов, ты обратишься с последней молитвой к Богу, слезно моля Его ниспослать тебе неожиданное счастье умереть в присутствии твоей жены и твоего сына.

Эти последние слова Родольф проговорил голосом взволнованным и грустным.

Ужас, охвативший было Грамотея, почти прошел... Он подумал, что Родольфу захотелось напугать его этим нравоучением, прежде чем закончить свою речь. Ободренный мягким тоном своего судьи, преступник все больше наглек, по мере того как проходил его страх.

– Черт возьми! – сказал он с грубым смехом. – Мы что, шарады разгадываем или присутствуем на уроке Закона Божьего?

Врач-негр с опаской взглянул на Родольфа, ожидая его гневной вспышки.

Этого не случилось... Молодой человек с невыразимой печалью покачал головой и сказал врачу:

– Приступайте, Давид... И да покарает меня одного Господь, если я совершу ошибку.

И Родольф закрыл лицо руками.

При этих словах врач позвонил.

Вошли двое мужчин, одетых во все черное. Доктор указал им рукой на дверь в соседнее помещение.

Они вкатили в него кресло с Грамотеем и связали его так, что он не мог пошевеливаться. Голову они прикрутили к спинке кресла с помощью повязки, охватившей одновременно шею и плечи.

– Обвяжите его лоб платком и намертво прикрепите к креслу, а другим платком заткните ему рот, – распорядился Давид, не сходя с места.

– Теперь вы хотите перерезать мне глотку?... Помилуйте!.. – взмолился Грамотей. – Помилуйте!.. И...

Из соседней комнаты доносился теперь лишь невнятный шепот.

Двое мужчин появились на пороге... и по знаку доктора вышли из залы.

– Монсеньор? – молвил в последний раз врач вопросительным тоном.

– Приступайте, Давид, – ответил Родольф, не меняя положения.

Давид медленно вошел в соседнюю комнату.

– Господин Родольф, мне страшно, – сказал побледневший Поножовщик дрожащим голосом. – Господин Родольф, скажите что-нибудь... Мне страшно... Или это сон?.. Что делают там с Грамотеем? Ничего не слышать... От этого мне еще страшнее.

Давид вышел из соседней комнаты; он был бледен, как бывают бледны негры. Белыми были его губы.

Двое мужчин снова вошли в залу.

– Прикатите сюда кресло.

Они повиновались.

– Выньте у него кляп.

Кляп был вынут.

– Вы что же, хотите подвергнуть меня пытке?.. – воскликнул Грамотей, и в голосе его прозвучало не страдание, а гнев. – Что это за забава колоть мне чем-то глаза?.. Мне было больно... И для чего вы потушили свет и там и здесь? Собираетесь мучить меня в темноте?

Последовала минута жуткого молчания.

– Вы слепы... – проговорил наконец Давид взволнованно.

– Неправда! Быть этого не может! Вы нарочно создали этот мрак!.. – вскричал разбойник, делая невероятные усилия, чтобы освободиться от пут.

– Развяжите его, пусть встанет, – распорядился Родольф.

Грамотея развязали.

Он быстро встал, сделал шаг, протянул вперед руки, снова упал в кресло и воздел руки к небу.

– Давид, дайте ему этот бумажник, – сказал Родольф.

Врач вложил в дрожащие руки Грамотея небольшой бумажник.

– В этом бумажнике достаточно денег, чтобы обеспечить тебе кров и хлеб до конца твоих дней в каком-нибудь уединенном месте. Теперь ты свободен... убирайся... и постарайся раскаяться... Господь милостив!

– Слеп! – проговорил Грамотей, машинально взяв бумажник.

– Откройте двери... Пусть уходит! – проговорил Родольф.

Двери с шумом распахнулись.

– Слеп! Слеп! Слеп!!! – твердил злодей, подавленный горем. – Боже мой, так это правда!

– Ты свободен, у тебя есть деньги, убирайся!

– Но я не могу уйти... Как вы хотите, чтобы я ушел? Я ничего не вижу, – воскликнул он в отчаянии. – Преступно злоупотреблять своей силой, чтобы...

– Преступно злоупотреблять своей силой! – повторил Родольф, голос которого прозвучал торжественно. – А что ты сделал со своей силой?

– О, лучше смерть... Да, я предпочел бы умереть! – воскликнул Грамотей. – От всех зависеть? Всего бояться? Ребенок и тот может теперь побить меня! Что делать? Боже мой! Боже мой! Что же делать?

– У тебя есть деньги.

– Их украдут у меня! – сказал разбойник.

– Их украдут у тебя. Вслушайся в эти слова!.. Ты произносишь их со страхом, ты, который столько раз воровал? Убирайся.

– Ради бога, – сказал умоляюще Грамотей, – пусть кто-нибудь проводит меня! Как я один пойду по улице?.. О, убейте меня! Прошу вас, сжальтесь... Убейте меня.

– Нет, придет день, и ты расскаешься.

– Никогда, никогда я не расскаюсь! – злобно вскричал Грамотей. – О, я отомщу! Поверьте... я отомщу!..

И, скрежеща зубами, он вскочил с кресла, угрожающе сжав кулаки.

Сделал шаг и споткнулся.

– Нет, нет, не могу!.. И однако, я такой сильный! Ах, как я жалок... Никто не пожалеет меня, никто.

И он заплакал.

Невозможно описать изумление, ужас Поножовщика во время этой трагической сцены: на его простом, грубом лице было написано сострадание. Он подошел к Родольфу и тихо сказал ему:

– Господин Родольф, он, возможно, получил то, что заслужил... Это был последний негодяй! Он и меня хотел убить; но теперь он слеп, он плачет. Дьявольщина! Мне жаль его... Он не знает, как уйти отсюда. Его могут раздавить на улице. Хотите, я отведу его куда-нибудь, где ему хоть нечего будет бояться?

– Хорошо... – сказал Родольф, тронутый великодушием Поножовщика, и пожал ему руку. – Хорошо, ступай...

Поножовщик подошел к Грамотею и положил ему руку на плечо.

Разбойник вздрогнул.

– Кто это трогает меня? – спросил он глухо.

– Я.

– Кто такой?

– Поножовщик.

– Ты тоже хочешь отомстить мне, да?

– Ты не знаешь, как выйти отсюда! Обопрись на мою руку Я провожу тебя.

– Ты! Ты!

– Да, теперь мне жаль тебя, идем!

– Ты хочешь поставить мне ловушку?

– Ты прекрасно знаешь, что я не подлец... Я не злоупотребляю твоей бедой. Ну же, идем, на улице уже светло.

– Светло! А я никогда больше не увижу света! – вскричал Грамотей.

Не в силах выносить долее эту сцену, Родольф поспешно вышел из залы в сопровождении Давида, знаком приказав обоим слугам удалиться.

Поножовщик и Грамотей остались одни.

– Правда ли, что в бумажнике, который мне дали, есть деньги? – спросил разбойник после долгого молчания.

– Да, там по меньшей мере пять тысяч франков. С такими деньгами ты вполне можешь жить на полном пансионе, где-нибудь в тихом уголке, в деревне, до конца своих дней... Хочешь, я отведу тебя к Людоедке?

– Нет, она украдет мой бумажник.

– К Краснорукому?

– Он отравит меня, чтобы завладеть моими деньгами.

– Куда же ты хочешь, чтобы я отвел тебя?

– Не знаю. Ты-то не вор, Поножовщик. Вот что, хорошенько спрячь бумажник у меня под курткой, чтобы Сычиха не увидела его, не то она меня обчистит.

– Сычиха? Ее отнесли в больницу Божона. Сегодня ночью, отбиваясь от вас обоих, я покалечил ей ногу.

– Что же будет со мной? Господи, что же будет со мной из-за этой черной завесы, которая навсегда останется передо мной? А что, если я увижу на ней бледные, мертвые лица тех...

Он вздрогнул и глухо спросил у Поножовщика:

– Скажи, человек, которого я кокнул этой ночью, умер?

– Нет.

– Тем лучше.

И Грамотей некоторое время молчал; потом неожиданно воскликнул, подпрыгнув от ярости:

– И однако, Поножовщик, это ты все испортил, злодей!.. Без тебя я бы укокошил этого человека и унес бы деньги. Если меня ослепили, это тоже твоя вина, да, твоя вина!

– Не думай о том, что было, это вредно для тебя. Ну же, решайся, идешь ты или нет?.. Я устал, мне хочется спать. Я и так достаточно делов наделал. Завтра я возвращаюсь к своему подрядчику. Я отведу тебя, куда захочешь, и отправлюсь на боковую.

– Но я не знаю, куда мне идти. В мои меблированные комнаты... Я не смею... Придется сказать...

– Послушай, хочешь день или два пробыть в моей конуре? А я постараюсь подыскать тебе хороших людей, которые возьмут тебя к себе как инвалида. Да... в порту Святого Николая я знаю одного рабочего, его мать живет в Сен-Манде; она порядочная женщина, но живется ей несладко. Возможно, она могла бы взять тебя к себе... Идешь ты или нет?

– На тебя можно положиться, Поножовщик. Я не боюсь пойти к тебе со своими деньгами. Ты никогда не крал... ты не злой, ты великодушный.



*И, оперишь на руку Поножовщика, он покинул дом на аллее Вдов.*

– Ладно уж, довольно захваливать меня.

– Видишь ли, я благодарен тебе за то, что ты хочешь сделать для меня, Поножовщик. В тебе нет ненависти, злопамятства... – смиренно проговорил преступник, – ты лучше меня.

– Дьявольщина! Еще бы не лучше... Господин Родольф сказал, что у меня есть мужество.

– Но что это за человек? Он и не человек вовсе, – воскликнул Грамотей в новом приступе злобы и отчаяния. – Он палач! Чудовище!

Поножовщик пожал плечами.

– Ну как, идем, что ли?

– Мы пойдем к тебе, ведь так, Поножовщик?

– Да.

– Ты не затаил злобы против меня за эту ночь, поклянись мне в этом?

– Клянусь.

– И ты уверен, что он не умер... тот человек?

– Уверен.

– Одним все же будет меньше, – глухо проговорил преступник. И, опершись на руку Поножовщика, он покинул дом на аллее Вдов.

## Часть вторая<sup>67</sup>



---

<sup>67</sup> Перевод О. Моисеенко.

## Глава I

### Лиль-Адан

Прошел месяц после описанных нами событий. Мы посетим теперь вместе с читателем городок Лиль-Адан, расположенный в живописной местности на берегу Уазы, вблизи большого леса.

В провинции мельчайшие факты становятся важными событиями. Недаром зевакам, гулявшим в то утро по церковной площади, не терпелось узнать, когда придет человек, купивший у вдовы Дюмон лучшую в городке мясную лавку со скотоприемным двором.

Новый владелец был, видимо, богачом, ибо он роскошно выкрасил и отделал лавку. Три недели день и ночь трудились там рабочие. Бронзовая с золотом решетка, закрывавшая вход в магазин, не препятствовала притоку свежего воздуха. По обеим ее сторонам высились массивные пилястры, увенчанные двумя крупными бычьими головами; на их золоченые рога опирался широкий антаблемент, предназначенный для вывески. Остальная часть этого двухэтажного дома была выкрашена в темно-серый свет, а решетчатые ставни – в светло-серый. Все работы были закончены, за исключением установки вывески, которой нетерпеливо ожидали празднующиеся, дабы узнать фамилию преемника вдовы.

Наконец рабочие принесли большую вывеску, и любопытные прочли на ней следующие слова, начертанные золотом по черному фону: «Правдолюб-мясник».

Любопытство бездельников все же не было удовлетворено. Кто такой этот Правдолюб? Один из самых нетерпеливых горожан обратился к приказчику, парню с открытым и веселым лицом, который хлопотал в лавке, заканчивая последние приготовления.

На вопрос о его хозяине, г-не Правдолюбe, парень ответил, что еще не видал его, так как лавка была куплена по доверенности, но не сомневается, что патрон сделает все возможное, чтобы удовлетворить своих будущих покупателей, уважаемых жителей Лиль-Адана.

Эти любезные слова, сказанные с видом приветливым и радушным, да и нарядный вид лавки расположили любопытных в пользу г-на Правдолюба; кое-кто тут же обещал симпатичному парню стать клиентом его хозяина.

В этом доме со стороны Церковной улицы имелся еще обширный двор.

Через два часа после открытия лавки новенькая плетеная двуколка, запряженная холеным першероном, въехала во двор мясной; из экипажей вышли двое мужчин.

Один из них был Мэрф, бледный, но уже вполне оправившийся после нанесенной ему раны, второй – Поножовщик.

Рискуя впасть в банальность, мы скажем, что престиж костюма так велик, что Поножовщика – этого завсегдатая таверн Сите – трудно было узнать в новой, непривычной для него одежде. Такая же метаморфоза произошла и с его лицом: вместе с обносками он, казалось, сбросил и свой дикий, грубый, тревожный вид: когда он спокойно шел, положив руки в карманы длинного теплого редингота из касторина орехового цвета, уткнув свежевыбритый подбородок в широкий белый галстук с вышитыми уголками, всякий принял бы его за добропорядочного буржуа.

Мэрф привязал лошадь к железному кольцу, вделанному в стену, и сделал знак Поножовщику следовать за ним; они вошли в уютную низкую залу за лавкой, обставленную ореховой мебелью, оба окна которой выходили во двор, где лошадь нетерпеливо била копытом. Можно было подумать, что Мэрф находится у себя дома, ибо он отворил дверцу одного из шкафов и взял оттуда бутылку и стакан.

– Утро сегодня холодное, парень, не хотите ли выпить водки?

– Не в обиду будь вам сказано, господин Мэрф... я не стану пить.

– Отказываетесь?

– Да, я до того рад, а радость согревает человека. И еще я рад тому, что встретил вас... Дело в том...

– Но в чем же?

– Вчера вы нашли меня в порту Святого Николая, где я для согрева лихо выгружал из воды бревна. Я не видал вас с той ночи... когда негр с белыми волосами выколол глаза Грамотею. Это первое, что он получил по заслугам, что правда, то правда... но... словом... Дьявольщина! Меня это зрелище перевернуло. А какое лицо было у Родольфа! У него всегда такой добродушный вид, а в ту минуту он меня испугал.

– Что же дальше?

– Итак, вы мне говорите: «Здравствуйте, Поножовщик». – «Здравствуйте, господин Мэрф. Значит, вы поправились?.. Тем лучше, дьявольщина, тем лучше. А как господин Родольф?» – «Ему пришлось уехать через несколько дней после того дела на аллее Вдов, и он забыл про вас, парень». – «Если так, – отвечаю я вам, – если господин Родольф позабыл меня, ей-богу, мне это очень горько».

– Я хотел сказать, мой милый, что он забыл вознаградить вас по заслугам; но он вас никогда не забудет.

– Эти ваши слова меня сразу подбодрили, господин Мэрф... Дьявольщина! Я-то уж наверняка его не забуду!.. Он мне сказал, что у меня есть честь и мужество... словом, молчок.

– К сожалению, парень, монсеньор уехал, не оставив никаких распоряжений на ваш счет; у меня же самого ничего нет, только то, что мне дает монсеньор: я не могу отблагодарить вас, как бы мне хотелось, за все, что вы сделали для меня.

– Полно, господин Мэрф, вы шутите.

– Но почему же, черт возьми, вы не вернулись на аллею Вдов после той трагической ночи? Монсеньор не уехал бы, не подумав о вас.

– Как вам сказать... Господин Родольф не позвал меня. Я решил, что он больше не нуждается во мне.

– Должны же вы были подумать, что ему хочется отблагодарить вас.

– Вы же сказали, что господин Родольф не забыл меня.

– Хорошо, хорошо, не будем больше говорить об этом. Но мне было нелегко отыскать вас... Так, значит, вы больше не ходите к Людоедке?

– Нет.

– Почему?

– Так уж, кой-какие мыслишки пришли мне в голову...

– В добрый час; но вернемся к тому, о чем вы говорили.

– К чему, господин Мэрф?

– Вы говорили: «Я доволен, что встретил вас, и еще доволен, быть может...»

– Вспомнил, господин Мэрф. Вчера, найдя меня у плотового сплава, вы сказали: «Послушайте, парень, я не богат, но я могу доставить вам место, где вам не придется так надрываться, как в порту, а зарабатывать вы будете четыре франка в день». – «Четыре франка в день... да здоровствует хартия!» Я ушам своим не поверил: ведь это жалованье унтер-офицера. «Дело подходящее, господин Мэрф», – отвечаю я. Вы же говорите мне, что я не должен походить на бродягу, иначе испугаю хозяина, к которому вы меня ведете. «У меня нет другой одежды», – отвечаю я. «Идемте в «Храм вкуса», – говорите вы. Я иду за вами, выбираю у мамыши Юбар все самое что ни на есть шикарное, вы даете мне денег в долг, и через четверть часа я разодет, как домовладелец или зубной врач. Вы мне назначаете свидание на сегодня, рано утром у ворот Сен-Дени; я нахожу вашу повозку, и вот мы здесь.

– Вы в чем-нибудь сомневаетесь?

– Видите ли, господин Мэрф, если человек хорошо одет, это портит его. И когда я вновь напялю на себя старую куртку и остальное тряпье, мне будет не по себе. Да и, кроме того...

получать четыре франка в день вместо двух... кажется мне такой большой удачей, которая не может продолжаться; я предпочел бы спать всю жизнь на дрянном соломенном тюфяке в моей мебелирашке, чем проспать пять-шесть ночей в хорошей кровати. Вот какое у меня мнение.

– Оно не лишено основания. Но лучше всегда спать в хорошей кровати.

– Ясное дело, лучше есть хлеба сколько влезет, чем подыхать с голоду. Что это? Так здесь, значит, мясная лавка? – спросил Поножовщик, слыша удары топора и заметив сквозь занавеску разрубленную бычью тушу.

– Да, мой милый; лавка принадлежит одному из моих друзей. Хотите осмотреть ее, пока лошадь отдыхает?

– Пожалуй, это напомнит мне молодость... только бойня в Монфоконе была дрянная, а убойным скотом служили мне старые клячи. Чудное дело! Имей я за душой немного денег, я из всех профессий выбрал бы только профессию мясника! Ездить на славной лошадке по ярмаркам, покупать там скотину, возвращаться домой, погреться у своего очага, если ты замерз, посушиться, если ты промок, увидеть свою хозяйку, славную толстую мамашу, свежую и веселую, с целой кучей ребятишек, которые обшаривают твои сумки в поисках гостинцев. А затем утром, на бойне, схватить за рога быка... в особенности если он злой, черт подери!.. Люблю злых быков... привязать за кольцо, вдетое в ноздрю, убить, разделать на части, очистить... Дьявольщина! Вот чего бы мне хотелось, как хотелось Певунье съесть ячменный леденец, когда она была маленькая... Кстати, господин Мэрф... я не встречал ее больше у Людоедки, верно, господин Родольф вытащил ее оттуда. Знаете, он сделал доброе дело. Бедная девушка! Она не думала ни о чем дурном. Такая еще молоденькая! А после втянулась бы... Словом, господин Родольф хорошо поступил.

– Согласен с вами. Но не хочется ли вам осмотреть лавку, пока наша лошадь отдыхает?

Поножовщик и Мэрф вошли в лавку, затем в хлев, где стояли три великолепных быка и штук двадцать овец; затем осмотрели конюшню, каретный сарай, бойню, чердаки и подсобные помещения этого дома, порядок и чистота которого свидетельствовали о рачительном и богатом хозяине.



*Поножовщик и Мэрф вошли в лавку, затем в хлев, где стояли три великолепных быка и штук двадцать овец...*

Когда они всюду побывали, за исключением второго этажа, Мэрф обратился с такими словами к Поножовщику:

– Признайтесь, что мой друг счастливчик. Этот дом и участок принадлежат ему, не считая тысячи экю оборотных средств, вложенных в торговлю. В довершение всего ему тридцать восемь лет от роду, силища, как у быка, железное здоровье и любовь к своей профессии. Приветливый и честный малый, которого вы видели внизу, со знанием дела заменяет хозяина, когда тот закупает скот на ярмарке. Повторяю, разве мой друг не счастливчик?

– Конечно, господин Мэрф. Но что поделаешь? Есть люди счастливые и несчастные; стоит мне подумать, что я буду зарабатывать четыре франка в день, когда иные не зарабатывают и половины, и подчас и того меньше...

– Хотите подняться и осмотреть второй этаж?

– Охотно, господин Мэрф.

– Там вы познакомитесь с хозяином, который хочет вас нанять.

– С хозяином?

– Да.

– Почему вы не сказали мне этого раньше?

– Я все объясню вам в свое время.

– Погодите, – сказал Поножовщик с печальным и смущенным видом, задерживая Мэрфа, – послушайте, я должен сказать вам одну вещь... Быть может, господин Родольф не говорил вам об этом... Но я ничего не должен скрывать от своего будущего хозяина... Пусть уж лучше узнает обо всем теперь, а не потом.

– В чем дело, что вы хотите сказать?

– Я хочу сказать...

– Что именно?

– Что я бывший преступник... что я был на каторге... – проговорил Поножовщик глухим голосом.

– Да? – молвил Мэрф.

– Но я никогда никому не делал зла! – воскликнул Поножовщик. – И я скорее подохну с голоду, чем стану воровать, – прибавил он, опустив голову, – я убил... в приступе гнева... И это еще не все, – заметил он после паузы, – хозяева нипочем не наймут бывшего каторжника; они правы: не за такие заслуги дают свидетельство о добродетели. Это и помешало мне найти приличную работу, меня нанимали только в каком-нибудь порту для выгрузки плотового леса, ведь я говорил, когда нанимался на работу: «Дело обстоит так-то и так-то... Нужен я вам? Не нужен?» Пусть лучше сразу откажут, а не после, когда сами узнают... Я сказал все это для того, чтобы предупредить вас: я выложу всю правду хозяину. Вы знаете его: если он не возьмет меня после этого, избавьте меня от знакомства с ним, лучше я тут же уберусь восвояси.

– Идемте же, – сказал Мэрф.

Поножовщик последовал за Мэрфом; они поднялись по лестнице; одна из дверей открылась, и они оказались лицом к лицу с Родольфом.

– Дорогой Мэрф... оставь нас одних, – молвил Родольф.

## Глава II

### Вознаграждение

– Да здравствует хартия! Я чертовски рад видеть вас, господин Родольф, иначе говоря, монсеньор! – воскликнул Поножовщик.

Встреча с Родольфом искренне обрадовала его, ибо услуги, которые щедрый человек оказывает людям, в той же мере привязывают его к ним, как и услуги, которые он от них принимает.

– Здравствуйте, друг, я тоже счастлив вас видеть.

– Ну и шутник господин Мэрф! Он сказал мне, что вы в отъезде. Вот что, монсеньор...

– Зовите меня «господином Родольфом», мне это больше по душе.

– Так вот, господин Родольф, простите, что я не зашел вас провести после той ночи с Грамотеем... Я понимаю теперь, что был невежлив; но вы не в обиде на меня, правда?

– Прощаю вам этот промах, – проговорил Родольф, улыбаясь.

И, помолчав, спросил:

– Скажите, Мэрф показал вам этот дом?

– Да, господин Родольф; прекрасное жилое помещение, прекрасная лавка; все богато, ухоженно. Кстати, о богатстве... Кто теперь разбогател, так это я; господин Мэрф предложил мне заработок, и какой! Четыре франка в день!

– Я хочу предложить вам кое-что получше, мой милый.

– Лучше... Не в обиду будь вам сказано, это трудно сделать. Подумайте, четыре франка в день!

– Говорят вам, мое предложение лучше; ибо вам принадлежит этот дом, мясная лавка и тысяча экю наличными вот в этом бумажнике.

Поножовщик глупо улыбнулся, сплющил свою бобровую шапку между судорожно сжатыми коленями и не понял того, что ему сказал Родольф, хотя все было изложено очень ясно.

– Я понимаю ваше удивление, – продолжал Родольф с доброй улыбкой, – но повторяю еще раз, что этот дом и эти деньги принадлежат вам, они ваши.

Поножовщик побагровел, провел своей мозолистой рукой по вспотевшему лбу и пробормотал изменившимся голосом:

– О, так, значит... так, значит... это моя собственность.

– Да, ваша собственность, потому что я дарю все это вам! Понимаете? Вам...

Поножовщик заерзал на стуле, почесал затылок, откашлялся, опустил глаза и ничего не ответил. Он чувствовал, что мысли его разбегаются. Он прекрасно слышал то, что ему сказал Родольф, но как раз поэтому не мог поверить своим ушам. Между его беспросветным положением, его горькой нуждой и тем, что ему предлагал Родольф, зияла такая глубокая пропасть, что ее не могла заполнить даже огромная услуга, оказанная им Родольфу.

Не торопя той минуты, когда его подопечный все уразумее, Родольф наслаждался тем, как был потрясен, ошеломлен Поножовщик привалившим ему счастьем.

Он видел с радостью, смешанной с глубокой печалью, что привычка к страданиям, к бедам столь велика у некоторых людей, что их разум отказывается допустить возможность иного, более светлого будущего, которое показалось бы очень многим не слишком завидной долей.

«Конечно, – думал он, – если, по примеру Прометея, человеку удастся иной раз похитить искру божественного огня, это бывает лишь тогда, когда он (да простится мне это богохульство) делает то, что надлежало бы делать иной раз самому Провидению в назидание людям: доказывать добрым и злым, что существует вознаграждение для одних и кара для других».

Понаслаждавшись блаженной одурью Поножовщика, Родольф спросил:

– Так, значит, то, что я вам подарил, превзошло ваши ожидания?

– Монсеньор! – проговорил Поножовщик, внезапно вставая. – Вы предлагаете мне этот дом и много денег... чтобы соблазнить меня; но я не могу...

– Не можете? Чего именно? – удивленно спросил Родольф.

Лицо Поножовщика оживилось, его стыд прошел; он сказал твердо:

– Я знаю, вы предлагаете мне столько денег не для того, чтобы склонить меня к воровству. Впрочем, я никогда в жизни не крал... Скорее всего, для того, чтобы я кого-нибудь убил... но я по горло сыт кошмарами о сержанте! – закончил он мрачно.

– Несчастные люди! – с горечью воскликнул Родольф. – Неужели сострадание так редко встречалось им в жизни, что они видят в щедром даре лишь плату за преступление?

Обратившись затем к Поножовщику, он сказал ему мягким, ласковым тоном:

– Вы плохо думаете обо мне... вы ошибаетесь, я не потребую от вас ничего бесчестного. Я дарю вам лишь то, что вы заслужили.

– Заслужил? Я? – вскричал Поножовщик, сомнения которого возобновились. – Но чем же?

– Сейчас все объясню: с детских лет вы не имели понятия ни о добре, ни о зле и были предоставлены своему необузданному нраву; вы провели пятнадцать лет на каторге с отъявленными негодьями, голодали, холодали. Затем вы вышли на свободу, но из-за клейма каторжника и недоверия честных людей вам пришлось по-прежнему жить среди подонков общества; несмотря на это, вы остались честным человеком, и угрызения совести за содеянное преступление пережили наказание, наложенное на вас судом.

Этот благородный и ясный язык стал новым источником удивления для Поножовщика. Он смотрел на Родольфа с уважением, смешанным со страхом и благодарностью. И все же никак не мог поверить его словам.

– Как, господин Родольф, из-за того, что вы меня поколотили, из-за того, что я посчитал вас своим братом-рабочим (ведь вы говорите на арго, как наш брат) и рассказал вам свою жизнь за стаканом вина, а после этого помешал утонуть... Вы... как же это так? Словом, я... получаю дом... деньги, становлюсь... как бы буржуа... Послушайте, господин Родольф, говорю вам еще раз: такого не бывает.

– Посчитав меня своим братом-рабочим, вы рассказали мне свою жизнь попросту, без притворства, не скрывая того, что в ней было преступного и благородного. У меня создалось мнение о вас... хорошее мнение, и мне угодно вас вознаградить.

– Но, господин Родольф, это же невозможно. Нет... сколько есть на свете бедняков-рабочих, которые честно прожили свою жизнь, и...

– Знаю, и я, быть может, сделал для некоторых из них больше, чем сделал для вас. Но если человек, честно живущий среди честных и уважающих его людей, заслуживает внимания и поддержки, то человек, остающийся честным среди самых что ни на есть отъявленных мерзавцев, заслуживает особого внимания, поддержки. Впрочем, это еще не все: вы спасли мне жизнь, вы спасли также жизнь Мэрфу, моему самому близкому другу. Итак, то, что я делаю для вас, подсказано мне и личной благодарностью, и желанием вытащить из грязи хорошего, сильного человека, который заблудился, но не погиб... И это еще не все.

– Что же я еще такого сделал, господин Родольф?

Родольф дружески взял его за руку.

– Исполненный сострадания к несчастью человека, который незадолго до этого хотел вас убить, вы предложили ему свою поддержку, вы даже приютили его в своем убогом жилище, в тупике Парижской Божьей Матери, номер девять.

– Вы знаете, где я живу, господин Родольф?

– Если вы забываете оказанные мне услуги, я их не забываю. Когда вы вышли от меня, за вами последовал мой человек; он видел, как вы вошли к себе вместе с Грамотеем.

– Но господин Мэрф говорил мне, что вы не знаете, где я живу.

– Мне хотелось подвергнуть вас последнему испытанию, узнать, обладаете ли вы бескорыстием, свойственным щедрым натурам. И в самом деле, после вашего благородного поступка вы вернулись на свою каждодневную тяжелую работу, ничего не попросив, ни на что не надеясь, не сказав ни единого горького слова в осуждение моей кажущейся неблагодарности, ведь я никак не отозвался на все, что вы сделали для меня; и когда вчера господин Мэрф предложил вам занятие, немного лучше оплачиваемое, чем ваша обычная работа, вы приняли его предложение с радостью, с признательностью.

– Послушайте, господин Родольф, если говорить о зарплатке, то четыре франка в день – это все же четыре франка. А что до услуги, которую я вам оказал, то скорее всего не вам, а мне придется вас благодарить.

– Почему?

– Да, да, господин Родольф, – проговорил он печально, – каких только мыслей я не набрался... с тех пор как узнал вас и вы мне сказали два слова: «Ты сохранил еще мужество и честь». Диву даюсь, сколько я думаю теперь. Странное дело, что два слова, всего два словечка сделали со мной такое... И то правда, бросьте в землю два крохотных зернышка пшеницы, и из них вырастут большущие колосья.

Это правильное и чуть ли не поэтическое сравнение удивило Родольфа. Действительно, два слова, но два слова редкой силы воздействия для тех, кто их понимает, внезапно пробудили в этой волевой натуре добрые, бескорыстные чувства, находившиеся лишь в зачаточном состоянии.

– Видите ли, монсеньор, – продолжал Поножовщик, – я спас господина Родольфа и отчасти господина Мэрфа, что правда, то правда; я могу спасти сотни, тысячи других людей, но это не вернет к жизни тех...

И Поножовщик, помрачнев, опустил голову.

– Такие угрызения совести благотворны, но доброе дело непременно зачтется грешнику.

– А затем, многое из того, что вы сказали Грамотею об убийцах, вполне могло бы подойти и мне.

Желая изменить ход мыслей Поножовщика, Родольф спросил:

– Это вы поместили Грамотея в Сен-Манде?

– Да, господин Родольф... Он попросил меня обменять его золото на банковые билеты и купить ему широкий пояс... Мы положили в него все это богатство, я зашил пояс на нем – и в добрый путь! Теперь он живет на тридцать су в день на полном пансионе у хороших людей, которые на эти деньги могут немного побаловать себя.

– Я попрошу вас еще об одной услуге, приятель.

– Говорите, господин Родольф.

– Через несколько дней вы съездите к нему... с этим документом, дающим право на пожизненное пребывание в заведении под названием «Добродетельные бедняки». Он внесет туда четыре тысячи пятьсот франков, и его примут навечно по предъявлении этой бумаги: все договорено и улажено. Я подумал, что для него это наилучший выход. Таким образом он обеспечит себе до конца дней крышу над головой и кусок хлеба и сможет думать только о раскаянии. Я жалею даже, что не отдал ему тотчас же этого документа вместо денег, которые могут быть растрачены или украдены; но он внушал мне такое омерзение, что мне хотелось как можно скорее избавиться от его присутствия. Вы предложите ему место в этом убежище и отвезете его туда. Если он откажется, мы придумаем что-нибудь другое. Итак, вы согласны съездить к нему?

– Я с радостью оказал бы вам эту, как вы говорите, услугу, господин Родольф, но не знаю, буду ли я свободен. Господин Мэрф устроил меня на работу к одному своему приятелю за четыре франка в день.

Родольф с удивлением взглянул на Поножовщика.

– Что? А ваша лавка? Ваш дом?

– Полно, господин Родольф, будет вам смеяться над беднягой. Вы и так всласть позабавились, чтобы испытать меня, как вы говорите. И ваш дом, и ваша лавка все та же старая песенка! Вы сказали себе: «Посмотрим, окажется ли этот скот Поножовщик таким болваном, чтобы поверить, будто...» Довольно, довольно, господин Родольф. Вы весельчак... Потешились надо мной, и баста.

– Но я только что все вам объяснил...

– Да, чтобы ваши рассказы были похожи на правду... Знаем мы эти фокусы... И ей-богу, я чуть было не попался на удочку. Надо же быть таким остолопом!

– Да ты с ума сошел, парень!

– Нет, нет, быть этого не может, монсеньор. Возьмем, к примеру, господина Мэрфа. Хотя его предложение и показалось мне чертовски странным... подумать только, четыре франка в день! Да уж куда ни шло, этому можно было поверить; но дом, лавка, куча денег... Ну и потеха! Дьяволыщина, ну и потеха!

И он расхохотался грубо, громко, от всего сердца.

– Выслушайте же меня...

– Скажу вам положила руку на сердце, монсеньор, что сначала вы задурили мне голову; потом я сказал себе: «Таких молодцов, как господин Родольф, поискать, он, верно, хочет послать меня с поручением к *пекарю*, а чтобы я не испугался запаха серы, он надумал меня подкупить». Но, пораскинув мозгами, я понял, что нехорошо так думать о вас, и догадался, что это простая шутка; ведь если бы я был таким дураком и поверил бы, будто вы дарите мне за здорово живешь целое состояние, вы сразу подумали бы: «Эх, Поножовщик, мне, право, жаль тебя... уж не свихнулся ли ты, бедняга?»

Родольф был в затруднении, не зная, как ему убедить Поножовщика. Он сказал ему серьезным, внушительным, чуть ли не суровым тоном:

– Я никогда не шучу, когда речь идет о благодарности и о сочувствии, которое вызывает у меня великодушный поступок... Я уже сказал вам, что и дом этот, и деньги ваши, я вам их дарю. Но вы не хотите мне верить, придется дать вам клятву; итак, клянусь честью, что все это принадлежит вам и что мой подарок объясняется причинами, которые я вам уже сообщил.

Когда Поножовщик услышал решительный, исполненный достоинства голос Родольфа, я увидел его серьезное лицо, он перестал сомневаться. Несколько секунд он молча смотрел на него, потом сказал без всякой напыщенности, но с чувством глубокого волнения:

– Я верю, монсеньор, и очень вам благодарен. Такой простой человек, как я, не умеет красно говорить. Повторяю, что очень благодарен вам. Единственное, что я могу обещать, – это никогда не отказывать в помощи несчастным: голод и нищета походят на Людоедок, которые завербовали несчастную Певунью, а как только человек окажется в сточной яме, не у всякого достанет хватки, чтобы выбраться оттуда.

– Вы не могли лучше отблагодарить меня, приятель... понимаете? Вы найдете вот здесь, в секретере, купчую на дом, приобретенную для вас на имя Правдолюба.

– Правдолюба?

– У вас нет фамилии, и я даю вам вот эту, придуманную мной. Она послужит хорошим предзнаменованием, и уверен, вы будете достойны ее.

– Обещаю, монсеньор.

– Мужайтесь, приятель! Вы можете помочь мне в одном добром деле.

– Я, монсеньор?

– В глазах общества вы будете живым и благотворным примером. Счастливая перемена, ниспосланная вам Богом, покажет иным низко павшим людям, что они не должны терять надежды: они еще могут подняться, если раскаются и сохранят в чистоте иные добрые каче-

ства. Видя вас счастливым, ибо, совершив преступление, претерпев за него страшное наказание, вы остались честным, смелым, бескорыстным, те, что оступились, постараются стать лучше. Я хочу, чтобы ничто из вашего прошлого не осталось скрытым; лучше самому во всем признаться. Итак, мы не откладывая сходим с вами к мэру этой коммуны; я навел справки о нем: он человек достойный и может содействовать моему доброму делу. Я назову себя и буду вашим поручителем; а чтобы сразу же установить хорошие отношения между вами и двумя людьми, представляющими в нравственном отношении общество этого городка, я обязуюсь в течение двух лет ежемесячно вносить тысячу франков в пользу бедных и стану регулярно посылать вам эти деньги, об употреблении которых вы договоритесь с мэром и священником. Если один из них не решится поначалу вступить с вами в деловые отношения, его нерешительность скоро пройдет под влиянием нужд благотворительности. Как только ваши отношения с ними наладятся, от вас будет зависеть приобрести уважение этих достойных людей, и вы, конечно, преуспеете в этом.

– Понимаю, монсеньор. Не мне одному, Поножовщику, вы делаете это добро, а также несчастным, которые вроде меня оказались в нищете, совершили преступление и, по вашим словам, сохранили в беде мужество и честь. Не в обиду будь вам сказано, то же бывает и в армии: когда батальон сражался не на жизнь, а на смерть, нельзя же всем навесить ордена: их всего четыре на сотню храбрецов; так вот те, кто не получил ордена, говорят себе: «Ладно, получу в другой раз», и в другой раз они опять бьются насмерть.

Родольф слушал своего подопечного с огромной радостью. Вернув этому человеку самоуважение, подняв его в собственных глазах, он сразу пробудил в нем мысли, исполненные здравого смысла, достоинства и даже чуткости.

– То, что вы сказали, Правдолюб, – заметил Родольф, – еще раз доказывает мне вашу признательность, и я благодарен вам за нее.

– Тем лучше, монсеньор, мне было бы очень трудно доказать ее иначе.

– А теперь осмотрим ваш дом; мой старый друг Мэрф уже доставил себе это удовольствие, теперь очередь за мной.

Родольф с Поножовщиком спустились на первый этаж.

В ту минуту, когда они входили во двор, приказчик почтительно обратился к Поножовщику:

– Поскольку вы хозяин лавки, господин Правдолюб, я хочу сказать вам, что товар наш нарасхват. Кончились отбивные котлеты и окорока, надо поскорее нарезать одну или двух овец.

– Черт возьми! Вот превосходный случай проявить ваши таланты, – сказал Родольф Поножовщику, – и я хочу первый воспользоваться вашей стряпней... От пребывания на воздухе мне захотелось есть, и я с удовольствием попробую ваши отбивные, хотя боюсь, что они будут жестковаты.

– Вы очень добры, господин Родольф, – радостно проговорил Поножовщик, – вы льстите мне, уж для вас-то я постараюсь.

– Так я отведу двух овец на бойню, хозяин? – спросил его приказчик.

– Да, и принеси мне нож с хорошо наточенным, но не слишком тонким лезвием и крепким тупым краем.

– Будьте покойны, хозяин, у меня есть как раз то, что вам требуется... Взгляните, таким ножом побриться можно.

– Дьявольщина! – воскликнул Поножовщик.

Он поспешно снял редингот и закатал рукава рубашки, обнажив мускулистые, как у атлета, руки.

– Это напоминает мне молодость и бойню, господин Родольф; вот увидите, как я справлюсь с работой... Черт возьми, мне не терпится взяться за дело! Нож, где твой нож, парень!

Хорош, ты понимаешь в этом толк. Вот это лезвие! Никто не хочет его испробовать?.. Дьявольщина! С таким оружием я справился бы с бешеным быком.

И Поножовщик поднял нож; его глаза налились кровью; в нем пробуждались зверские инстинкты; жажда крови давала знать о себе со страшной, пугающей силой.

Бойня находилась во дворе.

Это было сводчатое помещение, темное, с плиточным полом и узким отверстием вверх для освещения.

Приказчик довел обеих овец до двери бойни.

– Привязать их, хозяин?

– Привязать? Дьявольщина! А эти колени на что? Будь покоен. Они послужат мне лучше всяких тисков. Давай сюда овцу и возвращайся в лавку.

Родольф, оставшийся наедине с Поножовщиком, смотрел на него внимательно, с тревогой.

– Ну же, за работу, – сказал он.

– Дело не затянется, дьявольщина! Посмотрите, как я орудую ножом. Руки у меня горят, в ушах шумит... в висках как молотком стучит, кровь приливает к голове... Поди сюда, милочка, чтобы я мог чикнуть тебя ножом!

Глаза его блестели дикой радостью, он уже не замечал присутствия Родольфа и, как перышко подняв овцу, мигом отнес ее на бойню.

В эту минуту он походил на волка, который уволок в логово свою добычу.

Родольф последовал за ним, закрыл за собой дверь и прислонился к ее створке.

В бойне было темно; яркий свет, падающий сверху, освещал, как на картинах Рембрандта, грубое лицо Поножовщика, его бесцветные волосы и рыжие бакенбарды. Согнувшись пополам, держа в зубах длинный нож, блестевший в полумраке, он притянул к себе овцу, зажал между коленями, поднял ее голову, вытянул шею и зарезал.

Когда овца почувствовала прикосновение ножа, она тихо, жалобно заблеяла, взглянула угасающим взглядом на Поножовщика, и две струи крови ударили ему в лицо.

Эта жалоба, этот взгляд, эта кровь, стекавшая по нему, произвели ужасное впечатление на Поножовщика. Нож выпал у него из рук, окровавленное побелевшее лицо исказилось, глаза округлились, волосы стали дыбом; с ужасом отступив назад, он глухо проговорил:

– О, сержант, сержант!

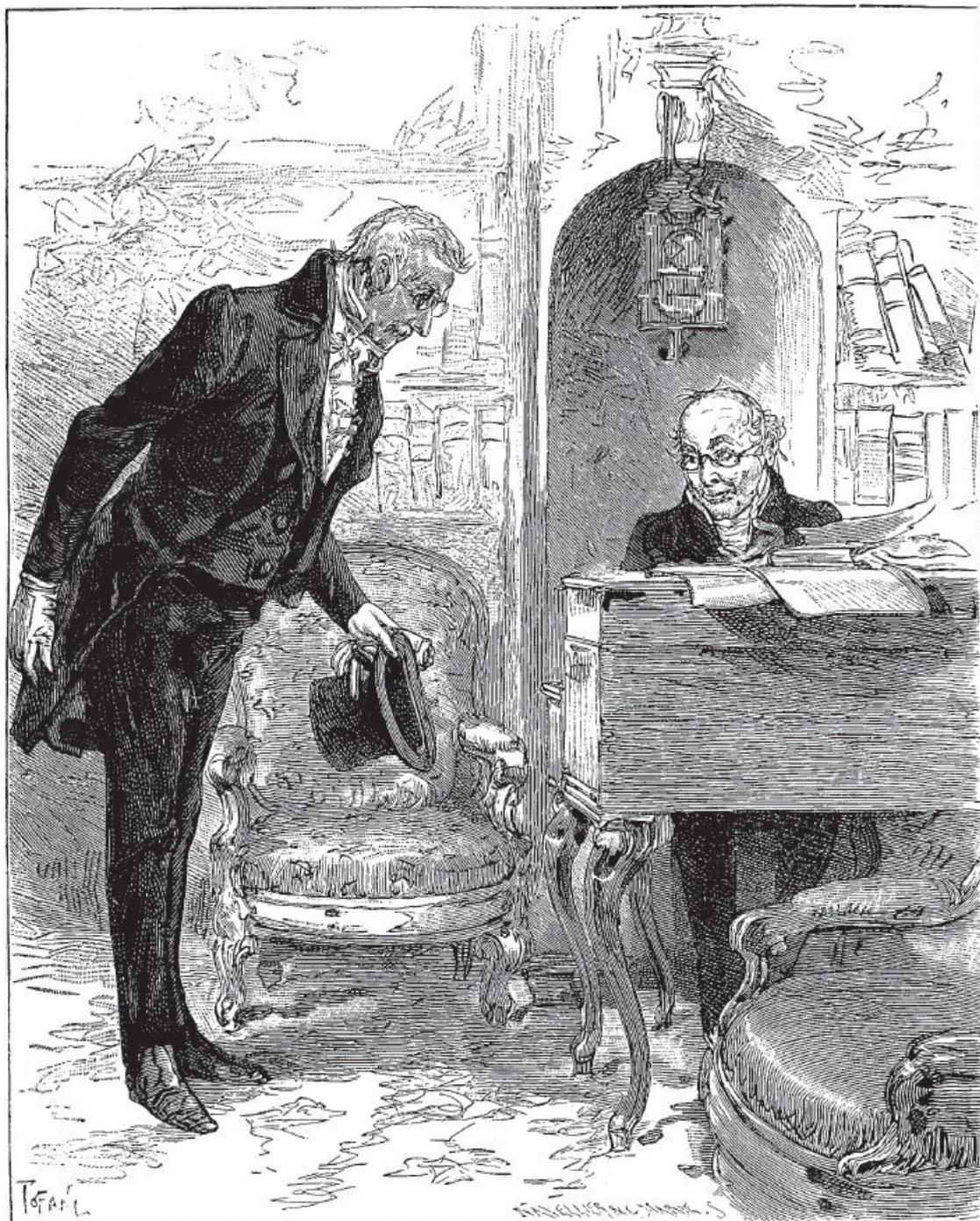
Родольф подбежал к нему.

– Очнись, парень.

– Здесь... здесь... сержант... – повторил Поножовщик, отступая назад.

Его неподвижный, дикий взгляд был устремлен в одну точку, пальцем он указывал на какое-то скрытое от других привидение. Затем, испустив нечеловеческий крик, словно призрак дотронулся до него, он убежал в глубину бойни, в ее самый темный угол и там налег грудью и руками на стену, будто хотел ее свалить, чтобы укрыться от какого-то страшного призрака.

– О, сержант!.. Сержант!.. Сержант!.. – повторял он хриплым, натужным голосом.



*Согнувшись пополам, держа в зубах длинный нож, блестевший в полумраке, он притянул к себе овцу...*

## Глава III

### Отъезд

Благодаря заботам Мэрфа и Родольфа, которые с большим трудом успокоили Поножовщика, тот окончательно пришел в себя после долгого приступа.

Он находился наедине с Родольфом в одной из комнат второго этажа мясной лавки.

– Монсеньор, – сказал он подавленно, – вы были очень добры ко мне... Но, видите ли, я готов влачить еще более горемычную жизнь, чем до сих пор, но принять ваше предложение не могу...

– Подумайте... все же.

– Видите ли, монсеньор, когда я услышал предсмертное блеяние несчастной беззащитной овцы... когда почувствовал, как ее кровь брызнула мне в лицо... кровь горячая, словно бы живая... О, вы не знаете, что это такое... Я снова увидел свой сон... сержанта и молоденьких солдатиков, которых я убивал ножом... они не защищались и, умирая, смотрели на меня так кротко... так кротко... словно жалели меня!.. О монсеньор! От этого можно с ума сойти!..

И бедняга судорожно закрыл лицо руками.

– Полно, успокойтесь.

– Простите меня, монсеньор, но я не смогу больше выносить вид крови, ножа. Они то и дело будут напоминать мне те страшные кошмары, а ведь я уже стал их забывать... Резать каждый день бедных, беззащитных животных... Видеть их кровь у себя на руках, на ногах... О нет, нет, не могу... Лучше мне ослепнуть, чем заниматься таким ремеслом.

Невозможно описать жест, интонацию, выражение лица Поножовщика, произносившего эти слова.

Родольф был глубоко тронут. Его радовало впечатление, произведенное видом крови на его подопечного.

В течение нескольких минут инстинкт дикого зверя, жажда крови возобладали в душе Поножовщика; но угрызения совести все же одержали победу над инстинктом. Это было прекрасно, в этом заключался великий урок.

Надо сказать в похвалу Родольфу, что он не терял веры в Поножовщика. Его воля, а не случай вызвали сцену на бойне.

– Простите, монсеньор, – робко проговорил Поножовщик, – я очень плохо отплатил за вашу доброту... но...

– Как раз напротив... вы исполнили мое заветное желание... Признаться, я не был уверен, что обнаружу у вас столь священный ужас, столь мучительные терзания совести.

– И что же, монсеньор?

– Выслушайте меня, – сказал Родольф, – я выбрал для вас профессию мясника, потому что ваши вкусы, ваши наклонности влекли вас к ней.

– Увы, это чистая правда, монсеньор... Без того, что вам известно, такая работа донельзя обрадовала бы меня... Я только что говорил об этом господину Мэрфу.

– Я все это предвидел... Вот почему, мой бедный Поножовщик, так удачно прозванный мной Правдолюбом, если бы вы приняли то, что я предложил вам, а вы могли это сделать, не потеряв моего уважения, все, что здесь находится, стало бы вашей собственностью. Таким образом я заплатил бы вам свой священный долг... изменил бы к лучшему ваше тяжелое положение, создал бы в вашем лице наглядный, спасительный пример... и продолжал бы следить за вашей жизнью. Но если бы, напротив, кровь, которую вы собрались пролить, напомнила бы вам о содеянном преступлении, если бы невольное отвращение, вызванное ее видом, доказало бы, что угрызения совести еще живы в глубине вашей души, мои виды на вас изменились бы, ибо предложенная мной профессия стала бы для вас ежедневной пыткой.

– О, это истинная правда, господин Родольф, – страшной пыткой.

– Выслушайте теперь мое новое предложение. Полагаю, вы примете его, ибо я действовал не вслепую, а хорошо зная ваш характер. Один мой знакомец, у которого много владений в Алжире, уступил мне для вас (остается лишь подписать купчую) обширную скотоводческую ферму. Прилегающие к ней земли весьма плодородны и прекрасно возделаны, и, хотя я уверен в вашей смелости и в потребности проявлять ее, я приобрел эту ферму условно, ибо она расположена на границе Атласа... Вам придется быть не только землевладельцем, но и солдатом и жить в поместье, превращенном в редут. Тот человек, который временно заменяет там хозяина, введет вас в курс дела; говорят, он человек честный и преданный; вы оставите его у себя до тех пор, пока вам потребуются его услуги. Обосновавшись в Алжире, вы сможете не только увеличивать свой достаток благодаря вашему трудолюбию и сметке, но и оказывать подлинные услуги родине, ибо вы человек отважный. Колонисты сформированы во вспомогательные воинские отряды. Величина вашего поместья, количество арендаторов, зависящих от него солдат сделают вас командиром довольно значительного отряда. Дисциплинированный вашими усилиями, возбужденный вашей храбростью, этот отряд будет крайне полезен для защиты владений, разбросанных по равнине. Повторяю, я выбрал для вас это занятие, несмотря на связанную с ним опасность или, точнее, благодаря этой опасности, ибо после того, как вы раскаялись и почти искупили содеянное преступление, восстановление вашего доброго имени будет еще возвышеннее, полнее, героичнее, если при свойственном вам бесстрашии оно завершится среди опасностей непокоренной страны, а не среди мирной жизни маленького городка. Я не сразу предложил вам уехать в Алжир, так как был почти уверен, что мое первое предложение вам подойдет; да и, кроме того, с этой поездкой связано столько риска, что мне не хотелось подвергать вас ему, не предоставив возможности выбора... Время еще есть, и, если ферма в Алжире вам не подходит, скажите об этом откровенно, и мы поищем что-нибудь другое... В противном случае завтра все будет подписано: я вручу вам купчую на ваше поместье... и вы завтра же отправитесь в Алжир с человеком, выбранным прежним хозяином фермы, чтобы помочь вам вступить в ее владение... По приезде вы получите арендную плату за два предыдущих года; ваши земли приносили до сих пор три тысячи в год; работайте, улучшайте их, будьте энергичны, бдительны, и вы без труда повысите свое благосостояние и благосостояние арендаторов, которым вы всегда сможете прийти на выручку; я не сомневаюсь, что вы останетесь отзывчивым и щедрым и запомните, что богатство обязывает помогать людям... Хотя я и буду вдали от вас, но не потеряю вас из виду. Я никогда не забуду, что мы с моим лучшим другом обязаны вам жизнью. Единственное доказательство расположения и благодарности, о котором я прошу вас, – это поскорее научиться читать и писать, чтобы вы могли неукоснительно раз в неделю извещать меня о своих делах, а в случае если вам потребуется совет или поддержка, обратиться ко мне одному.

Бесполезно говорить о радости, о восторге Поножовщика. Читатель хорошо знаком с его характером и наклонностями и без труда поймет, что ни одно предложение не подошло бы ему лучше этого.

В самом деле, на следующий же день Поножовщик уехал в Алжир.

## Глава IV

### Поиски

Дом Родольфа на аллее Вдов не был обычной его резиденцией. Он жил в одном из самых больших особняков Сен-Жерменского предместья в конце улицы Плюме.

По приезде в Париж он пожелал избежать почестей, связанных с его высоким рангом, и сохранил инкогнито, приказав своему поверенному при французском дворе объявить, что его господин нанесет все официальные визиты под именем графа Дюрена.

Благодаря этому обычаю, принятому при дворах властителей северных стран, принц крови путешествует столь же свободно и приятно, как богатый незнатный человек, не связанный тяготами представительства.

Несмотря на свое инкогнито, Родольф жил, как это и подобает, на широкую ногу. Мы введем читателя в его особняк на улице Плюме на следующий день после отъезда Поножовщика в Алжир.

Только что пробило десять утра.

Посреди обширной приемной, расположенной в первом этаже, перед кабинетом Родольфа, сидел за письменным столом Мэрф и запечатывал депеши.

Привратник, одетый во все черное, с серебряной цепью на шее, распахнул обе створки двери в приемную и возвестил:

– Его сиятельство барон фон Граун!

Не прерывая своего занятия, Мэрф помахал барону рукой.

– Господин поверенный в делах, – проговорил он с улыбкой, – располагайтесь, пожалуйста, у камина, еще немного, и я буду в вашем распоряжении.

– Сэр Вальтер Мэрф, личный секретарь его высочества... жду ваших приказаний, – весело ответил г-н фон Граун и шутливо отвесил глубокий, почтительный поклон достойному эсквайру.

Барону лет пятьдесят; у него редкие седеющие волосы, завитые и припудренные. Слегка выступающий вперед подбородок наполовину скрыт муслиновым, сильно накрахмаленным галстуком ослепительной белизны. Выражение лица говорит о тонком уме, манеры исполнены изящества, за стеклами очков в золотой оправе поблескивает лукавый, проницательный взгляд. Как того требует этикет, барон одет, несмотря на утренний час, во фрак с яркой полосатой ленточкой в петлице. Он положил шляпу на кресло и подошел к камину, а Мэрф продолжал свою работу.



– Сэр Вальтер Мэрф, личный секретарь его высочества... жду ваших приказаний, – весело ответил г-н фон Граун и шутиливо отвесил глубокий, почтительный поклон достойному эсквайру.

– Вероятно, его высочество провел бессонную ночь, дорогой Мэрф, если судить по объему вашей корреспонденции.

– Монсеньор лег спать в шесть утра. Он написал, между прочим, письмо на восьми страницах маршалу Герольштейна и продиктовал мне не менее длинное письмо председателю государственного совета.

– Надлежит ли мне дожидаться пробуждения его высочества, чтобы сообщить ему собранные мною сведения?

– Нет, дорогой барон... Монсеньор велел, чтобы его разбудили не раньше двух-трех часов пополудни: он желает, чтобы вы послали сегодня утром эти депеши со специальным курьером, не дожидаясь понедельника. Вы изложите мне ваши сведения, а я передам их монсеньору, как только он проснется: таковы его распоряжения.

– Превосходно! Мне кажется, что его высочество будет доволен собранной мной информацией. Надеюсь, дорогой Мэрф, что срочная посылка курьера не предвещает ничего дурного. В последних депешах, которые я имел честь передать его высочеству...

– Сообщалось, что там все идет хорошо, и монсеньор пожелал выразить как можно скорее свое удовлетворение председателю государственного совета и маршалу Герольштейна; вот почему он распорядился о срочной отправке курьера.

– Узнаю характер его высочества... если бы речь шла о выговоре, он не стал бы так торопиться; впрочем, в стране нет ни малейших разногласий по поводу твердого и искусного ведения дел нашими временными правителями. Да иначе и быть не может, – продолжал барон, улыбаясь, – часы были не только хороши, но и превосходно отрегулированы нашим повелителем, оставалось лишь аккуратно заводить их, чтобы благодаря своему неизменному и надежному ходу они ежедневно указывали всем подданным употребление каждого дня и часа. Порядок в государстве всегда вызывает уверенность и спокойствие народа; этим и объясняются добрые новости, которые вы сообщили мне.

– А здесь ничего нового, дорогой барон? Ничто не всплыло наружу? Наши таинственные похождения...

– Остались в тайне. Со времени прибытия монсеньора в Париж здесь привыкли видеть его очень редко и лишь у немногих особ, которых он попросил ему представить; все полагают, что он любит уединение и часто совершает загородные прогулки. Его высочество поступил весьма остроумно, отделившись на время от камергера и адъютанта, привезенных из Германии.

– Они были бы для нас весьма неудобными свидетелями.

– Итак, за исключением графини Сары Мак-Грегор, ее брата, Тома Сейтона оф Холсбери, и Чарльза, их верного раба, никто не знает о переодеваниях его высочества; впрочем, ни графиня, ни ее брат, ни Чарльз не заинтересованы в том, чтобы выдать эту тайну.

– Ах, дорогой барон, – промолвил Мэрф, улыбаясь, – какое несчастье, что эта проклятая графиня овдовела!

– Ведь она вышла замуж не то в тысяча восемьсот двадцать седьмом, не то в двадцать восьмом году?

– Да, в тысяча восемьсот двадцать седьмом, вскоре после смерти этой бедной крошки, которой было бы теперь лет шестнадцать—семнадцать; монсеньор никогда не упоминает о ней, хотя и постоянно ее оплакивает.

– Это тем более естественно, что его недолгий брак был бездетным.

– И знаете, дорогой барон, помимо жалости, которую внушает монсеньору Певунья, его интерес к ней объясняется прежде всего тем, что дочери, о потере которой он так горько жалеет (одновременно ненавидя ее мать), было бы теперь столько же лет, сколько этой несчастной девушке. Я прекрасно понял это.

– В самом деле, есть что-то роковое в том, что эта Сара, от которой мы считали себя избавленными, снова оказалась свободной ровно через полтора года после того, как его высочество потерял свою жену, лучшую из всех супругов. Я уверен, графиня считает это двойное вдовство знамением судьбы.

– И ее безрассудные надежды возродились, более страстные, чем когда-либо; ей известно, однако, что монсеньор питает к ней глубочайшую и вполне заслуженную ненависть. Разве не она явилась причиной... Ах, барон, – воскликнул Мэрф, не докончив фразы, – эта женщина всем приносит несчастье... Дай-то бог, чтобы она не навлекла на нас новых бед!

– Разве она не бессильна теперь, дорогой Мэрф? Прежде она имела на монсеньора то влияние, которое всегда имеет ловкая интриганка на молодого человека, полюбившего в первый раз, особенно при известных нам обстоятельствах; но влияние этой особы было уничтожено ее недостойными махинациями и, главное, воспоминанием о вызванной ею непоправимой беде.

– Прошу вас, дорогой Граун, говорите тише, – сказал Мэрф. – Увы, наступил зловещий для нас месяц январь, и мы приближаемся к тринадцатому числу – дате столь же зловещей; я всегда опасаюсь за монсеньора, когда наступает эта страшная годовщина.

– Однако если даже великий грех подлежит прощению, то монсеньор давно искупил его.

– Умоляю, дорогой Граун, не надо вспоминать об этом, иначе я весь день буду сам не свой.

– Итак, по-моему, попытки графини Сары абсурдны, ибо смерть бедной крошки, о которой вы только что говорили, разорвала последнюю нить, которая могла бы еще привязывать монсеньора к этой женщине; она безумна, если упорствует в своих надеждах.

– Да, но это опасная сумасшедшая. И, как вам известно, ее брат неукоснительно разделяет ее честолюбивые бредни, хотя в настоящее время у этой милой парочки столько же причин для разочарования, сколько их было для надежды полтора года тому назад.

– А сколько несчастий вызвал тогда аббат Полидори, этот нечестивец, своим преступным попустительством.

– Кстати, об этом прохвосте. Я слышал, что аббат уже год или два живет в Париже, где он либо бедствует, либо занимается какими-нибудь грязными делишками.

– Какой крах для человека столь образованного, умного, одаренного!

– И известного, кроме того, своей необычайной порочностью... Дай-то бог, чтобы он не встретился с графиней! Союз этих дурных людей был бы весьма опасен.

– Повторяю, дорогой Мэрф, интересы самой графини, как бы безрассудно ни было ее честолюбие, помешают ей воспользоваться авантюристическими наклонностями монсеньора; она не отважится на столь неблагоприятный поступок.

– Я тоже надеюсь на это; хотя только случай помешал ей сделать какое-то, по всей вероятности, отвратительное предложение Грамотею, мерзкому злодею, который в настоящее время, полностью обезвреженный, живет в неизвестности, быть может преисполненный раскаяния, у славных крестьян в деревне Сен-Манде. Увы! Я уверен, что монсеньор решился на такое страшное наказание, чтобы отомстить за меня этому негодяю, рискуя поставить себя в весьма щекотливое положение.

– Щекотливое! Нет, нет, дорогой Мэрф; вот как, по-моему, обстоит дело: беглый каторжник, закоренелый убийца, проникает к вам в дом и ударяет вас кинжалом; вы можете его убить в порядке самозащиты или отправить на эшафот; в обоих случаях этому негодяю не избежать смерти; а вместо того чтобы убить злодея или отдать его в руки палача, вы прибегаете к суровому, но справедливому наказанию и тем самым лишаете его возможности причинять вред обществу. Кто осмелится порицать вас за это? Неужели вас могут привлечь к суду из-за отпечатавшего негодяя и осудить за то, что вы сделали меньше, чем дозволено законом, и только лишили зрения того, кого имели право убить? Подумайте, если в порядке самозащиты или мести за явный адюльтер общество признает за мной право на жизнь и смерть ближнего, право чудовищное, бесконтрольное, не подлежащее обжалованию, превращающее меня в судью и палача, то неужели я не могу заменить иной карой смертную казнь, к которой мне дозволяется прибегнуть безнаказанно? И в особенности... в особенности, когда речь идет об известном нам с вами злодее? Ибо вопрос заключается именно в этом. Я оставляю в стороне ранг монсеньора, одного из владетельных князей Германского союза. Я знаю, с точки зрения права знатность не имеет значения; однако в жизни существует фактическая неприкосновенность; давайте представим себе, что против монсеньора возбуждено судебное дело, сколько добрых поступков будут свидетельствовать в его пользу! Сколько дотоле неизвестных вспомоществований, милостей с его

стороны выявится в ходе судебного разбирательства! Повторяю, если бы столь странный процесс начался в суде, как вы полагаете, чем бы он кончился?

– Монсеньор говорил мне не раз: он примет обвинительный приговор, не воспользовавшись неприкосновенностью, которую мог бы обеспечить ему присущий ему высокий ранг. Но кто предаст огласке этот печальный случай? Вам известна молчаливость Давида и четырех слуг-венгров из дома на аллее Вдов. Поножовщик, облагодетельствованный монсеньором, не скажет ни одного слова из боязни скомпрометировать себя. Перед своим отъездом в Алжир он поклялся мне хранить полное молчание на этот счет. А сам преступник прекрасно понимает, что пожаловаться на его высочество – значит сложить голову на плахе.

– Наконец, никто из нас троих – монсеньора, вас и меня – не проговорится, не так ли? Хотя эта тайна известна нескольким лицам, она будет свято сохранена. В крайнем случае можно опасаться лишь небольших неприятностей, но при разбирательстве этого странного дела, дорогой Мэрф, выявится столько благородных деяний, что обвинительный приговор обернется триумфом для его высочества.

– Вы вполне успокоили меня. Но не вы ли говорили, что узнали интересные вещи из писем, найденных у Грамотея, а также из признаний, которые сделала Сычиха, когда лежала в больнице с переломом ноги; кстати, эта мерзавка уже вышла оттуда.

– Вот эти сведения, – сказал барон, вынимая из кармана какую-то бумагу. – Они касаются поисков, предпринятых, чтобы установить происхождение девушки по прозвищу Певунья и узнать новый адрес Франсуа Жермена, сына Грамотея.

– Не прочтете ли вы мне эти заметки, дорогой Граун? Мне известны намерения монсеньора, и я сразу пойму, удовлетворят ли его собранные вами сведения. Вы по-прежнему довольны своим агентом?

– О, это ценнейший человек, умный, ловкий, скромный. Иной раз мне даже приходится умерять его пыл; как вам известно, его высочество желает лично заняться некоторыми делами.

– И вашему агенту до сих пор неизвестно участие монсеньора во всем этом?

– Он ровно ничего не знает об этом. Мое положение дипломата служит превосходным предлогом для тех розысков, которые я ему поручаю. У господина Бадино (так зовут нашего агента) много житейской сметки и широкие, явные и тайные, связи почти во всех слоях общества; в свое время он был адвокатом, но ему пришлось продать свою контору из-за всяких подозрительных махинаций; однако у него сохранились весьма точные сведения о капитале и положении своих прежних клиентов; он знает множество тайн и нагло похвально тем, что торговал ими; два или три раза он богател и разорялся на разных аферах и теперь пользуется слишком дурной славой, чтобы заняться новыми спекуляциями; он прибегает к не совсем законным средствам, чтобы прожить, и напоминает мне Фигаро; послушать его весьма любопытно. Он принадлежит душой тем, кто ему платит, а обманывать нас не в его интересах; впрочем, я устроил за ним тайную слежку: нет никаких оснований остерегаться его.

– Да и сведения, которые он собрал для нас, оказались весьма точными.

– Господин Бадино по-своему честен, и уверяю вас, дорогой Мэрф: тип он чрезвычайно оригинальный; странная жизнь, подобная его жизни, встречается только в Париже и возможна только там. Он очень позабавил бы его высочество, если бы всякие отношения между ними не были нам вредны.

– Может быть, увеличить оплату услуг господина Бадино, как по-вашему?

– Пятьсот франков в месяц плюс накладные расходы, достигающие примерно той же суммы, оплата, по-моему, достаточная; он как будто доволен – дальше будет видно.

– И он не стыдится своего ремесла?

– Он-то? Напротив, скорее гордится им; принося мне свои отчеты, он не преминет напустить на себя важный, я сказал бы даже, дипломатический вид; ибо этот пройдоха притворяется, будто принимает всерьез доверенные ему государственные дела и восхищается тайными

связями, которые существуют между частными интересами и судьбами империй. Иной раз у него хватает наглости сказать мне: «Сколько сложностей в управлении государством, неизвестных обычным людям. Кто бы мог подумать, что заметки, которые я приношу вам, ваше сиятельство, имеют отношение к европейским делам!»

– Поверьте, прохвосты вечно стараются представить в розовом свете свои низкие поступки; это льстит их самолюбию. Но вернемся к вашим записям, дорогой барон.

– Вот они, почти в точности составленные со слов господина Бадино.

– Слушаю вас.

И барон прочел ему следующие строки:

– «ЗАПИСИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЛИЛИИ-МАРИИ.

В начале тысяча восемьсот двадцать седьмого года человек по имени Пьер Турнемин, ныне отбывающий наказание на Рошфорской каторге как фальшивомонетчик, предложил некой мещанке по фамилии Жерве, прозванной Сычихой, взять к себе на воспитание девочку в возрасте пяти-шести лет за единовременное вознаграждение в сумме тысячи франков».

– Увы, дорогой барон, – сказал Мэрф, прерывая своего собеседника... – тысяча восемьсот двадцать седьмой год... ведь как раз в этом году монсеньор узнал о смерти несчастной девочки, которую он до сих пор горько оплакивает... По этой причине и по многим другим этот год был роковым для моего повелителя.

– Счастливые годы весьма редки, мой бедный друг. Но разрешите мне продолжить чтение: «По заключении упомянутой сделки девочка пробыла у этой женщины два года, а затем сбежала неизвестно куда из-за дурного с ней обращения. Сычиха ничего не знала о ней в течение нескольких лет, когда месяца полтора тому назад увидела ее в одном из кабаков Сите. Девочка, ставшая к тому времени взрослой девушкой, была известна под прозвищем Певуньи. Вскоре после этой встречи вышеупомянутый Турнемин, с которым Грамотей познакомился на Рошфорской каторге, переслал Краснорукому (тайному и постоянному посреднику каторжан, отбывающих наказание или выпущенных на волю) подробное письмо, относящееся к девочке, некогда вверенной попечению мещанки Жерве, прозванной Сычихой. Как следует из этого письма и из заявлений самой Сычихи, некая госпожа Серафен, экономка нотариуса по имени Жак Ферран, поручила Турнемину подыскать ей женщину, которая согласилась бы за тысячу франков взять на себя заботу о девочке пяти или шести лет, от которой желали отделаться.

Сычиха приняла это предложение.

Посылая эти сведения Краснорукому, Турнемин преследовал следующую цель: потребовать через третье лицо у госпожи Серафен денег, угрожая в случае отказа разгласить это давно забытое дело. Оказалось, что госпожа Серафен лишь посредница никому не известных людей.

Краснорукий поручил хранить вышеуказанное письмо Сычихе, недавней сообщнице Грамотея, принимающей участие в его преступлениях; этим и объясняется, что письмо оказалось в руках злодея и что во время своей встречи с Певуньей в кабаке „Белый кролик“ Сычиха, желая помучить ее, сказала: „Твои родители нашлись, но ты ничего не узнаешь о них“.

Теперь надо было выяснить, насколько правдиво письмо Турнемина о девочке, некогда приведенной им к Сычихе. Были наведены справки о госпоже Серафен и о нотариусе Жаке Ферране. Оба они действительно существуют. Нотариус живет на Пешеходной улице, сорок один; он слывет человеком суровым, набожным, во всяком случае, его часто видят в церкви; в делах он отличается излишней пунктуальностью и даже придирчивостью; бережливость его граничит со скупостью; госпожа Серафен по-прежнему служит у него экономкой.

Жак Ферран, будучи бедняком, купил нотариальную контору за триста пятьдесят тысяч франков. Деньги на покупку были ему даны под солидную гарантию господином Шарлем Робером, штабным офицером городской полиции, красивым молодым человеком, пользующимся большим успехом в обществе. Он делит с нотариусом доходы от его конторы, которые оцениваются в пятьдесят тысяч франков, не принимая, разумеется, ни малейшего участия в нотари-

альных делах. Злые языки утверждают, будто удачные спекуляции и игра на бирже так обогатили нотариуса, что он в состоянии выплатить свой долг господину Шарлю Роберу; но господин Жак Ферран пользуется такой хорошей репутацией, что его доброжелатели считают эти слухи грязной клеветой. Итак, госпожа Серафен, экономка этого святого человека, располагает, по-видимому, ценными сведениями о происхождении Певуны».

– Превосходно, дорогой барон! – воскликнул Мэрф. – В заявлениях Турнемина есть видимость правды. Быть может, с помощью нотариуса мы сумеем отыскать родителей этой бедной девочки. А что, справки о сыне Грамотея так же хороши?

– Пожалуй, хотя и менее подробны...

– Право, ваш Бадино сущее сокровище.

– Как видно, Краснорукий – главная пружина всего этого дела. Господин Бадино (а у него, видимо, имеются связи с полицией) порекомендовал нам Краснорукого, служившего посредником многих каторжан еще до того, как монсеньор предпринял первые шаги, чтобы разыскать сына госпожи Жорж, несчастной жены этого мерзавца Грамотея.

– Очевидно, так оно и есть; и, отправляясь в логово Краснорукого на Бобовой улице, номер тринадцать, монсеньор встретил там Поножовщика и Певунью. Его высочество непременно пожелал воспользоваться случаем, чтобы посетить гнусные тамошние притоны в надежде вызволить из грязи каких-нибудь горемык; предчувствие не обмануло его; но ценой каких опасностей, боже мой!

– Опасностей, которые вы мужественно разделили с ним, дорогой Мэрф.

– Недаром я состою угольщиком при особе его высочества, – ответил, улыбаясь, эсквайр.

– Скажите лучше, бесстрашным телохранителем, мой достойный друг. Но говорить о вашей смелости и преданности значило бы повторять избитые истины... Итак, я продолжаю свой отчет... Вот записи о Франсуа Жермене, сыне госпожи Жорж и Грамотея, иными словами – Дюренеля.

## Глава V

### Сведения о Франсуа Жермене

Барон фон Граун продолжал:

– «Около полутора лет тому назад молодой человек по имени Франсуа Жермен прибыл в Париж из Нанта, где он служил в банке „Ноэль и компания“.

Как следует из признаний Грамотея и из нескольких найденных у него писем, он поручил своего сына сообщнику, чтобы тот воспитал его для выполнения преступных замыслов шайки, настало время, и негодяй-воспитатель открыл этот мерзкий заговор юноше, предложив ему способствовать подделке банкнот и ограблению банка „Ноэль“, где служил Франсуа Жермен.

Этот последний возмущенно отверг сделанное ему предложение, но, не желая выдавать своего воспитателя, он написал анонимное письмо директору банка о готовящемся заговоре и тайно покинул Нант, чтобы избежать мести тех, кто попытался сделать его орудием и сообщником готовящихся преступлений.

Узнав о бегстве Жермена, негодяи приехали в Париж, где они, свидевшись с Красноруким, стали разыскивать сына Грамотея, видимо с самыми зловещими намерениями, ибо юноше были известны их планы. После долгих поисков им удалось узнать его адрес, но было слишком поздно: встретив невзначай того, кто пытался его совратить, он догадался о том, что привело этого человека в Париж, и неожиданно съехал с квартиры. Таким образом сын Грамотея еще раз ускользнул от своих преследователей.

Однако полтора месяца тому назад им удалось узнать, что он живет на улице Тампль, номер семнадцать. Как-то вечером, возвращаясь домой, он едва не попал в расставленную ему ловушку. (Грамотей скрыл это обстоятельство от монсеньора.)

Жермен догадался, от кого исходит этот удар, покинул свою квартиру и снова скрылся. Поиски находились на этой стадии, когда Грамотей был наказан за свои преступления.

И как раз тогда поиски Жермена были снова предприняты по приказанию монсеньора.

Вот их результат.

Франсуа Жермен прожил около трех месяцев на улице Тампль, в доме номер семнадцать, доме чрезвычайно любопытном как по нравам, так и по занятиям большинства своих жильцов. Жермена там очень любили за услужливость, за веселый и открытый нрав. Хотя юноша жил, видимо, на весьма скромный доход или жалованье, он с трогательной заботливостью отнесся к неимущему семейству, ютившемуся в мансарде этого дома. Справки, наведенные на улице Тампль о новом адресе Франсуа Жермена и о его занятиях, ничего не дали; предполагают, что он служил в какой-нибудь конторе или торговой фирме, ибо обычно уходил утром и возвращался около десяти часов вечера.

Где теперь поселился молодой человек, должна знать некая девушка из того же дома; это очень хорошенькая гризетка по прозвищу Хохотушка, состоявшая, по-видимому, в любовной связи с Жерменом. Она живет рядом с комнатой, которую занимал Жермен; после его отъезда комната сдается внаем. Все эти сведения были добыты под предлогом, что явившийся туда человек желал бы снять ее».

– Хохотушка? – неожиданно воскликнул Мэрф, который, казалось, силился что-то припомнить. – Хохотушка? Мне знакомо это имя.

– Что я слышу, сэр Вальтер Мэрф, – воскликнул, смеясь, барон, – неужели такой достойный и уважаемый отец семейства, как вы, знаком с гризетками? Неужели это прозвище не ново для вашего слуха? Как не стыдно! Фу! Фу!

– Черт возьми! Монсеньор свел меня с такими странными людьми, что вы не вправе удивляться этому знакомству, барон. Но погодите, погодите... Да, теперь... я вспомнил: рассказы-

вая мне историю Певуны, монсеньор не мог удержаться от смеха при этом нелепом прозвище. Насколько мне помнится, так звали одну из подруг по заключению бедной Лилии-Марии.

– Так вот, в настоящее время Хохотушка может оказать нам неоценимую услугу. Итак, я заканчиваю свой доклад: «По всей вероятности, было бы небесполезно снять свободную комнату в доме на улице Тамплъ. Однако у нас нет приказа продолжать начатое расследование; если судить по некоторым словам, оброненным привратницей, имеются все основания считать, что в этом доме можно узнать при содействии Хохотушки достоверные сведения о сыне Грамотея, кроме того, монсеньор получил бы возможность наблюдать там нравы, занятия и, главное, беды, о существовании которых он даже не подозревает».

## Глава VI

### Маркиз д'Арвиль

– Как видите, дорогой Мэрф, – сказал барон фон Граун, закончив чтение отчета и вручая его эсквайру, – след родителей Певуны надо искать у нотариуса Жака Феррана, а о теперешнем адресе Франсуа Жермена расспросить Хохотушку. По-моему, дела наши не так уж плохи, когда знаешь, где надо искать то... что ищешь.

– Несомненно, барон; кроме того, монсеньор найдет, я уверен, богатую пищу для наблюдений в доме, о котором идет речь. Но это еще не все: удалось ли вам навести справки о маркизе д'Арвиле?

– Да, по крайней мере в том, что касается денежных дел, опасения его высочества безосновательны. Господин Бадино утверждает – а я считаю его человеком хорошо осведомленным, – что никогда еще материальное благополучие маркиза не было прочнее, а его дела в лучшем порядке.

– Не допытываясь причины глубокого горя, которое подтачивает здоровье господина д'Арвиля, монсеньор приписал его денежным затруднениям; в этом случае он пришел бы ему на помощь с известной вам редкой щепетильностью... но, поскольку его высочество ошибся в своих предположениях, ему придется, к своему великому огорчению, ибо он очень любит господина д'Арвиля, отказаться от попыток проникнуть в его тайну.

– Чувства его высочества легко понять. Он всегда помнит, скольким был обязан его батюшка отцу маркиза. Известно ли вам, дорогой Мэрф, что в тысяча восемьсот пятнадцатом году, когда основался Германский союз, отцу его высочества грозило отторжение от этого союза из-за его нескрываемой привязанности к Наполеону? Старый маркиз д'Арвиль, ныне покойный, оказал в этих условиях огромную услугу отцу нашего повелителя, воспользовавшись дружбой, которой его удостаивал император Александр, когда маркиз жил эмигрантом в России; ссылка на эту дружбу оказала огромное влияние на прения в конгрессе, где дебатировались интересы владетельных князей Германского союза.

– Подумайте, барон, как часто один благородный поступок влечет за собой другой; в девяносто втором году отец маркиза выслан; он находит в Германии у отца монсеньора самое радушное гостеприимство; после трехлетнего пребывания при нашем дворе он уезжает в Россию, заслуживает там царскую милость и с помощью этой милости оказывает в свою очередь большое одолжение князю, так благородно поступившему с ним когда-то.

– Не в тысяча ли восемьсот пятнадцатом году, во время пребывания старого маркиза д'Арвиля при дворе тогдашнего великого герцога, и зародилась дружба между монсеньором и молодым д'Арвилем?

– Да, у них остались самые приятные воспоминания об этой счастливой поре их юности. Это еще не все: монсеньор относится с таким пиететом к памяти человека, который оказал некогда дружескую услугу его батюшке, что относится с величайшим благоволением ко всем членам этого семейства... Таким образом, постоянные щедроты, которыми монсеньор осыпает несчастную госпожу Жорж, объясняются не столько ее бедами и добродетелью, сколько принадлежностью к этому семейству.

– Вы говорите о госпоже Жорж, о жене Дюренеля! Каторжника, прозванного Грамотеем! – вскричал барон.

– Да, и она же мать Франсуа Жермена, которого мы разыскиваем и, надеюсь, найдем...

– И родственница господина д'Арвиля?

– И двоюродная сестра его матери и ее близкая подруга. Престарелый маркиз всегда питал к госпоже Жорж самые дружеские чувства.

– Но как могло семейство д'Арвиль согласиться на ее брак с этим мерзавцем Дюренелем, дорогой Мэрф?

– Отец этой несчастной женщины, господин де Леньи, управитель Лангедока, был до революции богатым человеком; в грозные революционные годы ему удалось избежать изгнания, а как только в стране наступило успокоение, он стал подумывать о выдаче замуж своей дочери. Дюренель попросил ее руки; он принадлежал к известной парламентской семье, был богат и до поры до времени умело скрывал свои дурные наклонности; его предложение было принято. Вскоре после женитьбы выявились скрытые пороки этого человека: мот, страстный игрок, водивший компанию с отъявленными негодяями, он сделал свою жену очень несчастной. Она не жаловалась, скрывала свои огорчения, а когда отец ее умер, удалилась в свое поместье и стала управлять им, чтобы немного рассеяться. Спустя некоторое время господин Дюренель растратил их общее состояние на азартные игры и распутство; поместье было продано. Тогда госпожа Дюренель уехала вместе с сыном к своей родственнице маркизе д'Арвиль, которую она любила как сестру. Пустив все по ветру, Дюренель был вынужден искать средств к существованию и стал преступником – фальшивомонетчиком, вором, убийцей, был приговорен навечно к каторжным работам, выкрал сына у своей жены и поручил его воспитание такому же мерзавцу, как и он сам. Остальное вам известно.

– Но как удалось монсеньору отыскать госпожу Дюренель?

– Когда Дюренель был отправлен на каторгу, его жена, впав в нищету, приняла фамилию Жорж.

– Неужели в столь тяжелом положении она не обратилась к госпоже д'Арвиль, своей родственнице и лучшей подруге?

– Маркиза умерла до приговора, вынесенного Дюренелю, а из-за необоримого чувства стыда госпожа Жорж не посмела просить о помощи своих родных, которые, конечно, не отказали бы ей после стольких мужественно перенесенных бед... Однажды, доведенная до крайности нищетой и болезнью, она отважилась молить о помощи господина д'Арвиля, сына своей лучшей подруги... Таким образом монсеньор и встретился с ней.

– Как же это произошло?

– Монсеньор отправился однажды к господину д'Арвилю; впереди него шла бедно одетая женщина, бледная, больная, подавленная. Подойдя к двери особняка д'Арвиля, она остановилась, долго не решалась позвонить, затем резко повернула обратно, словно у нее не хватило смелости сделать это. Этот поступок весьма удивил монсеньора, и, заинтригованный видом этой женщины, выражением кротости и горя на ее лице, он последовал за ней. Она вошла в неказистый на вид дом. Монсеньор разузнал о ней; все отзывы были в ее пользу. Она вынуждена была трудиться, но недостаток работы и расшатанное здоровье довели ее до полной нищеты. На следующий день мы отправились к ней вместе с монсеньором. Мы пришли вовремя, чтобы помешать ей умереть с голоду.

После долгой болезни, во время которой она пользовалась самым заботливым уходом, госпожа Жорж в порыве благодарности поведала свою жизнь монсеньору, не зная ни имени его, ни ранга, поведала также о приговоре, вынесенном Дюренелю, и о похищении своего сына.

– И таким образом его высочество узнал, что госпожа Жорж принадлежит к семейству д'Арвиль?

– Да, после чего монсеньор, который сумел оценить достоинства госпожи Жорж, уговорил ее уехать из Парижа на букевальскую ферму, где она и находится по сей день вместе с Певуньей. В этом тихом убежище она нашла если не счастье, то спокойствие и смогла отвлечься от своих несчастий, взявшись за управление фермой... Монсеньор скрыл от господина д'Арвиля, что он вызволил его родственницу из беды, отчасти щадя большое самолюбие госпожи Жорж, отчасти потому, что он не любит распространяться о своих добрых делах.

– Понимаю, что монсеньор вдвойне заинтересован в том, чтобы разыскать сына этой бедной женщины.

– Можете теперь судить, дорогой барон, о привязанности его высочества ко всему этому семейству и о том, как его огорчает грусть молодого маркиза, у которого имеются все основания чувствовать себя счастливым.

– В самом деле, чего недостает господину д'Арвилю? У него есть все, чего может пожелать человек: знатность, богатство, молодость; жена его прелестна, столь же скромна, сколь красива.

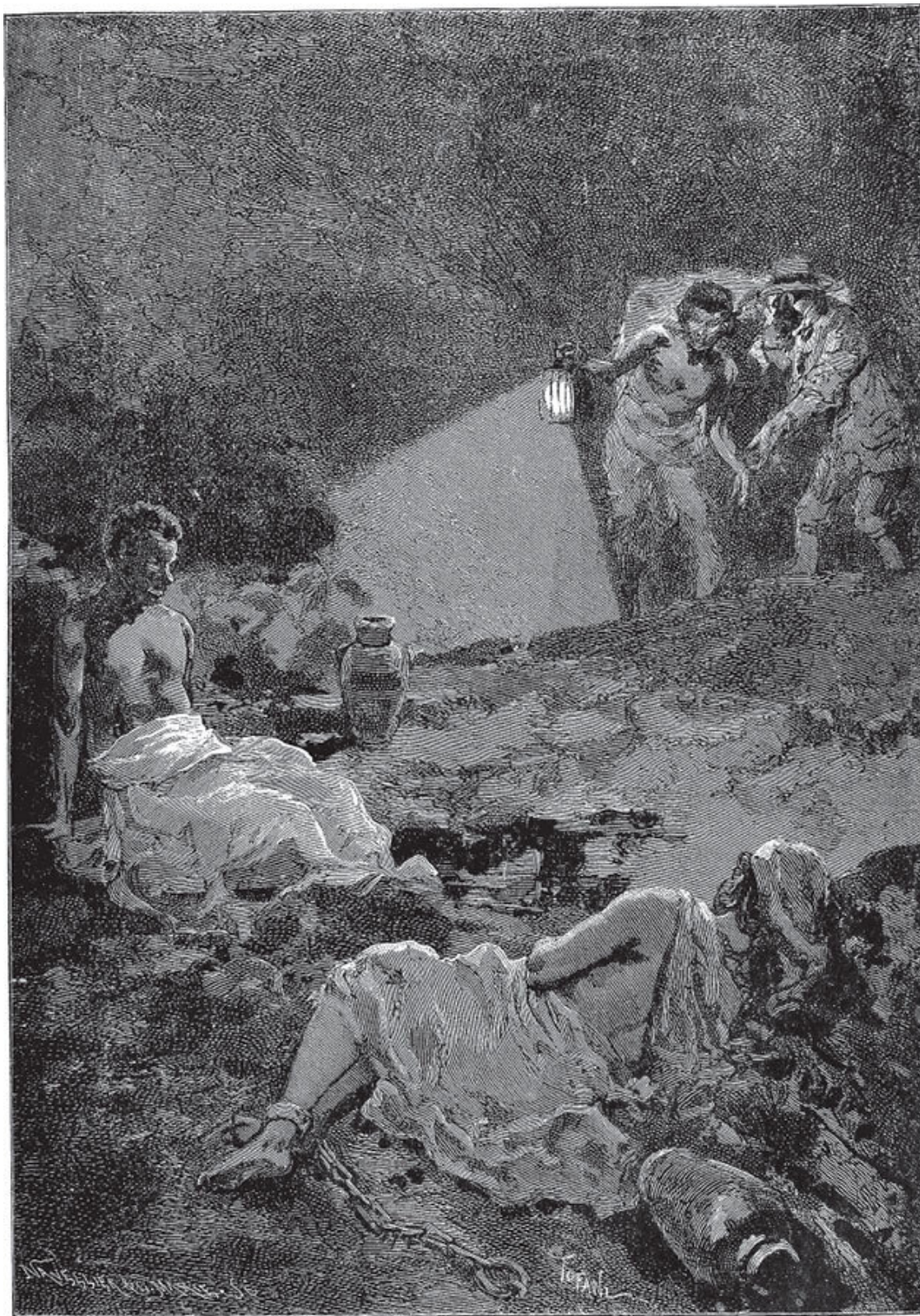
– Вы правы, вот почему, отчаявшись выяснить причину черной меланхолии господина д'Арвиля, его высочество велел навести справки, о которых мы только что говорили; тревога и участие монсеньора глубоко трогают его друга, но он по-прежнему хранит молчание о снедающем его горе. Быть может, у него какие-нибудь любовные огорчения?

– Вряд ли, говорят, что он очень влюблен в свою жену, которая не дает ему ни малейшего повода для ревности. Я часто встречаю ее в свете; она имеет большой успех, как всякая молодая и прелестная женщина, но ее репутация безупречна.

– Да, маркиз живет душа в душу со своей женой... Между ними произошла лишь небольшая размолвка по поводу графини Сары Мак-Грегор!

– Так, значит, эти дамы знакомы между собой?

– По несчастной случайности, отец маркиза д'Арвиля познакомился лет семнадцать-восемнадцать тому назад с Сарой Сейтон оф Холсбери и ее братом Томом во время их пребывания в Париже, где они пользовались покровительством жены английского посла. Узнав, что брат с сестрой отправляются в Германию, старый маркиз дал им рекомендательное письмо к отцу монсеньора, с которым он постоянно переписывался. Увы, дорогой Граун, не будь этого письма, удалось бы избежать многих бед, ибо монсеньор вряд ли познакомился бы с этой женщиной. Наконец по возвращении в Париж графиня Сара, осведомленная о дружеских чувствах его высочества к молодому маркизу, добилась приглашения в особняк д'Арвиля с явной надеждой встретить там монсеньора, ибо она преследует его с таким же упорством, с каким он бежит от нее.



*...Впереди него шла бедно одетая женщина, бледная, больная, подавленная.*

– Подумать только, переодеться мужчиной, чтобы перехватить его высочество в дебрях Сите!.. Такая мысль могла прийти в голову только графине Саре.

– Быть может, она надеялась тронуть своей настойчивостью монсеньора и заставить его согласиться на встречу, от которой он всегда отказывался. Но вернемся к госпоже д'Арвиль; ее муж, с которым монсеньор говорил о Саре в надлежащем тоне, посоветовал своей жене

видеться с ней как можно реже; но молодая маркиза, польщенная лицемерной лестью графини, не послушалась советов господина д'Арвиля. Произошла небольшая размолвка, которая, впрочем, не могла вызвать мрачную подавленность маркиза.

– О, женщины... женщины! Дорогой Мэрф! Я очень сожалею, что госпожа д'Арвиль поддерживает знакомство с Сарой. Молодая и прелестная маркиза может только проиграть от дружбы с этой ведьмой.

– Кстати, по поводу ведьм, – заметил Мэрф, – вот депеша о Сесили, недостойной супруге достойного Давида.

– Говоря между нами, дорогой Мэрф, эта предприимчивая метиска<sup>68</sup> вполне заслуживает ужасного наказания, которому ее муж, наш милый доктор-негр, подверг Грамотея по приказанию монсеньора. Из-за нее тоже пролилась кровь, а ее извращенность не поддается описанию.

– И, несмотря на это, как же она хороша, как соблазнительна! Порочная душа при очаровательной внешности всегда вызывает у меня глубочайшее отвращение. В этом отношении Сесили вдвойне омерзительна; но в последней депеше отменяется приказание, отданное монсеньором по поводу этой презренной женщины.

– Как раз наоборот.

– И монсеньор по-прежнему желает устроить ей побег из крепости, куда ее заточили навечно?

– Да.

– И чтобы ее так называемый похититель привез ее во Францию? В Париж?

– Да, и более того, депеша содержит приказ насколько возможно ускорить побег и приезд Сесили, с тем чтобы она прибыла сюда самое позднее через две недели.

– Ничего не понимаю... монсеньор всегда относился к ней с явным омерзением.

– Его чувство к ней еще усилилось, если это только возможно.

– И все же он призывает ее к себе! Впрочем, будет нетрудно, по мнению его высочества, добиться высылки Сесили, если она не выполнит того, что от нее требуется. А покамест сыну тюремного смотрителя крепости Герольштейна отдан приказ похитить эту женщину, притворившись, что он от нее без ума; ему предоставляются наиболее благоприятные условия для выполнения этого плана. С великой радостью воспользовавшись подвернувшейся возможностью, метиска последует за своим предполагаемым похитителем и приедет в Париж; пусть так, но она все же остается преступницей, ведь судимость с нее не снята; она всего лишь сбежавшая узница, и я вполне могу, как только это потребуется монсеньору, потребовать и добиться ее высылки.

– Поживем – увидим, дорогой барон; я попрошу вас также затребовать с обратной почтой заверенную копию брачного свидетельства Давида, ибо он женился в княжеском дворце в качестве врача, принадлежавшего к штату монсеньора.

– Запросив это свидетельство с сегодняшней почтой, мы получим его самое позднее через неделю.

– Когда Давид узнал от монсеньора о скором прибытии Сесили, его как громом поразило; затем он воскликнул: «Надеюсь, что ваше высочество не заставит меня встретиться с этой мегерой?» – «Будьте спокойны, – ответил монсеньор, – вы ее не увидите... Но она нужна мне для некоторых моих планов». Огромная тяжесть спала с души Давида. Я уверен, однако, что этот приезд пробудит в нем много горестных воспоминаний.

– Бедный негр!.. Он способен до сих пор любить ее. Говорят, она прехорошенькая!

– Прелестна... Чересчур прелестна... Только безжалостный взгляд креола может обнаружить в ней женщину смешанной крови по едва заметному темному ободку, который оттеняет

---

<sup>68</sup> Креолка, отцом которой был представитель белой расы, а матерью – рабыня-квартиронка.

розовые ноготки этой метиски; нежным цветом лица, белизной кожи, золотистым оттенком каштановых волос она может поспорить с нашими яркими северными красавицами.

– Я был во Франции, когда монсеньор вернулся из Америки с Давидом и Сесили; мне известно, что с тех пор этот превосходный человек привязан к его высочеству узами глубочайшей благодарности, но я до сих пор не знаю, вследствие каких перипетий он оказался на службе нашего повелителя и каким образом стал мужем Сесили, которую я увидел впервые через год после ее замужества; одному Богу известно, какую бурю возмущения она вызывала тогда!..

– Могу сообщить вам то, что вас интересует, дорогой барон; я сопровождал монсеньора во время его путешествия в Америку, где он спас Давида и метиску от поистине страшной участи.

– Вы бесконечно любезны, дорогой Мэрф, я слушаю вас, – ответил барон.

## Глава VII

### История Давида и Сесили

– Мистер Уиллис, богатый американский плантатор во Флориде, – начал свой рассказ Мэрф, – заметил в одном из своих молодых черных рабов по имени Давид, работавшем в лазарете его поместья, выдающийся ум, глубокое и действенное сострадание к больным, за которыми он ухаживал с любовью, выполняя все предписания врачей, а также его необычайный интерес к растениям, применяемым в медицине; в самом деле, не имея специального образования, он сумел классифицировать местную флору и составить нечто вроде гербария. Плантация мистера Уиллиса, расположенная на берегу моря, находилась в пятнадцати-двадцати милях от ближайшего города; тамошние врачи – люди довольно невежественные, к тому же они неохотно приезжали на вызовы из-за больших расстояний и плохих дорог. Чтобы устранить столь серьезное неудобство в стране, подверженной эпидемиям, и иметь под рукой умелого врача, колонист решил послать Давида во Францию для изучения медицины, и в частности хирургии. Молодой негр с восторгом принял это предложение и уехал в Париж, причем плантатор оплатил все расходы по его обучению. После восьми лет упорного труда Давид с блеском окончил медицинский факультет и вернулся в Америку, чтобы поставить приобретенные им знания на службу своего господина.

– Да, но, ступив на французскую землю, Давид мог считать себя свободным и фактически, и юридически.

– Конечно, но Давид человек редкой честности; он обещал мистеру Уиллису вернуться и вернулся, так как не считал своей собственностью знания, приобретенные на чужие деньги. В довершение всего он надеялся облегчить моральные и физические страдания рабов, своих прежних товарищей по несчастью. Он намеревался стать не только врачом, но их поддержкой и заступником перед колонистом.

– В самом деле, надо обладать редкой честностью и святой любовью к своим соплеменникам, чтобы вернуться к хозяину после восьмилетнего пребывания в Париже среди самой демократической молодежи Европы.

– По этой черте характера вы можете судить о человеке. Итак, он вновь во Флориде и, надо сказать, пользуется уважением и приязнью мистера Уиллиса, живет под его крышей, ест за его столом, впрочем, этот колонист, тупой, злой и чувственный деспот, как и все креолы, считал себя весьма щедрым, положив Давиду шестьсот франков жалованья. По истечении нескольких месяцев в поместье вспыхивает страшная эпидемия тифа, заболевает и господин Уиллис, но вскоре выздоравливает благодаря превосходному уходу Давида; из тридцати тяжело заболевших негров умирают только двое. Мистер Уиллис приходит в восторг от услуг Давида и повышает его жалованье до тысячи двухсот франков. Врач-негр чувствовал себя счастливейшим человеком на свете, собратья смотрели на него как на Провидение; в самом деле, хотя и с большим трудом, он добился небольшого улучшения их участи и надеялся достигнуть большего в будущем; а пока что он наставлял, утешал этих обездоленных людей, призывал их к смирению, говорил им о Боге, который заботится как о неграх, так и о белых; о другом мире, в котором живут не хозяева и рабы, а праведники и грешники; об иной жизни... жизни вечной, где рабы уже не были скотом, вещью хозяев, где угнетенные на земле люди чувствовали бы себя такими счастливыми, что молились за своих палачей... Что еще сказать вам? Этим страдальцам, которые, в отличие от других людей, считали с горькой радостью дни, которые приближают их к могиле, этим горемыкам, надеявшимся только на небытие, Давид обещал вечную свободу, после чего цепи казались им менее тяжкими, труд менее утомительным. Давид был их кумиром. Около года прошло без особых изменений. Среди наиболее хорошеньких рабынь плантатора выделялась метиска пятнадцати лет по имени Сесили. Мистеру Уиллису пригля-

нулась эта девушка; быть может, впервые в жизни деспот натолкнулся на отказ, на упорное сопротивление. Сесили любила... любила Давида, который во время последней эпидемии с редкой самоотверженностью лечил ее и спас от смерти; после выздоровления девушка отдала Давиду первое целомудренное чувство, невольно уплатив ему таким образом долг благодарности. Давид, как человек щепетильный, никому не говорил о своем счастье: он ждал шестнадцатилетия Сесили, когда он сможет жениться на ней.

Ничего не зная об этой любви, господин Уиллис величественно бросил платок хорошенькой метиске; обливаясь слезами, девушка рассказала Давиду о грубых притязаниях хозяина, от которого ей с трудом удалось вырваться. Негр успокоил ее и тут же попросил руки Сесили у мистера Уиллиса.

– Черт возьми! Я боюсь строить догадки об ответе американского султана... Он отказал?

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.